

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Томас Манн

История «Доктора Фаустуса»
роман одного романа



ImWerdenVerlag
München 2006

© Томас Манн. ИСТОРИЯ «ДОКТОРА ФАУСТУСА». РОМАН ОДНОГО РОМАНА
Собрание сочинений. Том девятый. ГИХЛ, М., 1960. Пер. с немецкого С. Апта

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006
OCR и вычитка — Александр Продан, Кишинев, 2006
<http://imwerden.de>

Ибо хотя каждое поэтическое произведение в пору своего выхода в свет должно быть и ценно и действительно само по себе, отчего я всегда недолюбливал всякие предисловия, послесловия и извинения перед критикой, все же такие труды, отступая в прошлое, утрачивают свою действенность, утрачивают тем заметнее, чем действеннее были они в свое время, и можно даже сказать, что их ценят тем меньше, чем больше способствовали они расширению отечественной культуры; так меркнет мать перед своими красивыми дочерьми. Вот почему и полезно приписать историческую ценность подобным произведениям, поведав о том, как они создавались, доброжелательным знатокам.

Гете, «Поэзия и правда»

I

Как явствует из моих записей за 1945 год, 22 декабря меня посетил корреспондент лос-анжелосского журнала «Тайм мэгезин» (от Даунтауна до нашей дачи на автомобиле можно добраться за час), чтобы призвать меня к ответу за одно пророчество, сделанное мною пятнадцать лет назад и в срок не исполнившееся. В самом конце «Очерка моей жизни», который я тогда написал и который был переведен на английский язык, я, забавляясь своей верой в некие симметрические соотношения и числовые соответствия в моей жизни, высказал довольно твердую уверенность, что в 1945 году, семидесяти лет от роду, то есть в том же возрасте, что и моя мать, я навеки покину сей бренный мир. Год, о коем шла речь, заявил корреспондент, почти что истек, а я так и не сдержал своего слова. Как же я оправдаюсь перед читающей публикой в том, что еще живу?

Ответные мои речи пришлось не по вкусу моей жене, тем более что ее беспокойная душа давно уже пребывала в страхе за мое здоровье. Она пыталась прервать меня, возразить, опровергнуть объяснения, в которые я пустился перед каким-то репортером, хотя ее доселе от них избавлял. Исполнение пророчеств — отвечал я — дело мудреное; подчас они сбываются не буквально, а на какой-то символический лад, но тут есть уже доля пусть неточного, пусть даже сомнительного, а все-таки явного исполнения. Надо учитывать возможность всяческих замен. Спору нет, моего педантизма не хватило настолько, чтобы умереть. Однако, как воочию видит мой посетитель, в назначенный мною год моя жизнь — в аспекте биологическом — все-таки пришла к такому упадку, какого никогда еще прежде не ведала. Хотя я и надеюсь снова собраться с силами, теперешнее мое состояние вполне удовлетворяет меня как доказательство моего ясновидения, и я буду весьма признателен гостю, если он и его достопочтенный журнал тоже на этом и помирятся.

Всего через три месяца после этой беседы наступил момент, когда биологический спад, на который я позволил себе сослаться, достиг предельной своей глубины, и серьезный, потребовавший хирургического вмешательства кризис на несколько месяцев нарушил привычный быт, подвергнув мою природу запоздалому испытанию, в

такой его форме более чем неожиданному. Если я обо всем этом упоминаю, то лишь потому, что усматриваю здесь любопытное противоречие между силами биологическими и духовными силами. Периоды телесного благополучия и отменного здоровья, периоды физической бодрости и крепости далеко не всегда благодатны и в творческом отношении. Лучшие главы «Лотты в Веймаре» были написаны мною как раз в те полгода, когда я претерпевал неопишуемые муки инфекционного ишиаса, непостижимые для человека, не перенесшего их; это была самая отчаянная боль, какую мне когда-либо случалось испытывать, боль, от которой нет избавления ни днем ни ночью, сколько бы ты ни старался принять удобную позу. Такой позы вообще не существует. После страшных ночей — не дай Бог, чтобы они повторились, — завтрак обычно несколько успокаивал воспаленный нерв, и тогда, кое-как, по преимуществу боком, примостившись к письменному столу, я вступал с Ним, со «светочем высот чудесных», в unio mystica¹. Но ведь ишиас — это болезнь, в общем-то не так уж и глубоко вторгающаяся в жизнь и при всей своей мучительности не очень серьезная. А вот время, о котором сейчас идет речь и которое я имел в виду, пророчествуя насчет своей смерти, действительно было порой медленно прогрессирующего упадка моих жизненных сил, их явного биологического «истощения». Однако именно с этой порой связано создание произведения, которое сразу же по выходе в свет обнаружило свою недюжинную лучевую мощь.

Было бы чистым доктринерством объяснять и обуславливать физическим спадом творческий акт, вобравший в себя материал целой жизни и отчасти непроизвольно, отчасти же ценою сознательного усилия синтезировавший в некоем ступке целую жизнь, а потому так или иначе обнаруживающий свою заряженность жизнью. Очень легко поменять местами причины и следствия, поставив мое заболевание в вину работе, которая, как никакая другая, меня извела и потребовала от меня напряжения сокровеннейших сил. Доброжелательным наблюдателям моей жизни дело представлялось именно в таком свете, и если мой вид вызывал у них опасения, они замечали ничтоже сумняшеся: «Это все из-за книги». И разве не признавал я их правоты? Есть такое мудрое изречение: тот, кто отдает жизнь, ее обретает. Это изречение обладает в сфере искусства и поэзии не меньшими правами гражданства, чем в сфере религиозной. Жертвоприношение жизни никогда не совершалось из недостатка в жизненной силе, и это отнюдь не свидетельство недостатка в таковой, если человек в семьдесят лет — странная вещь! — пишет свою «самую сумасшедшую» книгу. Не свидетельствовала о таком недостатке и легкость, с которой я, отмеченный шрамом, протягивающимся от груди к спине, на радость врачам оправился от операции, чтобы все-таки завершить это...

Попытаюсь, однако, с помощью скупых записей в тогдашнем моем дневнике восстановить для себя и для своих друзей историю «Фаустуса» в той нерасторжимой связи с натиском и сумятицей внешних событий, которая выпала ей в удел.

II

В ноябре 1942 года, из-за поездки в Восточные Штаты, задержалась работа над завершением «Иосифа-кормильца», уже весьма близким в предшествующие недели, когда гремела битва за окутанный дымом и пламенем Сталинград. Эта поездка, в которой меня сопровождала рукопись лекции о почти что законченной тетралогии, вела в Нью-Йорк через Чикаго и Вашингтон, была богата встречами, сборищами и деятельностью и, помимо всего прочего, дала мне возможность снова увидеть Принстон и близких людей той полосы моей жизни — Франка Эйделотта, Эйнштейна, Христиана Гауса, Хэлен Лау-Портер, Ганса Растеде из Лоуренсвилль Скул и его окружение,

¹ Мистический союз (лат.).

Эриха фон Калера, Германа Броха и многих других. Дни в Чикаго прошли под знаком войны в Африке, волнующих сообщений о вступлении немецких войск в неоккупированную зону Франции, о протесте Петена, о десанте гитлеровских полков в Тунисе, об оккупации итальянцами Корсики, о вторичном взятии Тобрука. Мы читали о лихорадочных оборонительных мероприятиях, которые немцы осуществляли повсюду, где только могли опасаться вторжения, о признаках, предвещавших переход французского флота на сторону союзников. Мне было странно и непривычно видеть Вашингтон на военном положении. Снова, как некогда, будучи гостем Юджина Мейера и его красавицы жены в их роскошной вилле на Крезнт-Плейс, я удивленно глядел на непомерно военизированные окрестности памятника Линкольну — на бараки, конторы, мосты, на непрерывно прибывающие, битком набитые армейскими грузами поезда. Стояла угнетающая жара запоздалого «indian summer»¹. На одном из званых обедов в доме моих гостеприимных хозяев, где в числе приглашенных были бразильский и чешский послы со своими женами, зашел разговор об американском сотрудничестве с Дарланом, о проблеме «expediency»². Мнения разделились. Я не скрывал своего отвращения к этой затее. После обеда мы слушали по радио речь Уилки, который как раз тогда вернулся из «one-world tour»³. Известия о важной победе у Соломоновых островов несколько подняли общее настроение.

Подготовка к лекции в Library of Congress⁴ снова свела меня, к моему удовольствию, с Арчибальдом Мак-Лишем, тогда еще директором Государственной библиотеки, и его женой, и я почел особой для себя честью то обстоятельство, что вице-президент Уоллес, представленный аудитории Мак-Лишем, произнес вступительное слово перед моей речью. Что касается самой лекции, то она, не лишенная печатных злободневных событий и благодаря репродукторам услышанная также и во втором, до отказа заполненном зале, после столь выигрышной подготовки была встречена публикой более чем дружественно. Вечер закончился многолюдным приемом в доме Мейеров, во время коего я держался преимущественно общества близких мне людей, официальных лиц рузвельтовского режима, Уоллеса и Френсиса Бидла, Attorney General⁵, чья милая супруга сказала мне много лестных слов о моей лекции; Бидл, с которым я дотоле вел переписку относительно ограничений, наложенных на «enemy aliens»⁶, особенно на немецких эмигрантов, сообщил мне о своем намерении отменить эти репрессии в ближайшем будущем. От него же я узнал, что Рузвельт, чье отношение к режиму Виши вызывало сомнения и тревогу не у меня одного, все-таки требует освобождения антифашистов и евреев, содержащихся под арестом в Северной Африке.

Я был благодарен нашей хозяйке, давнишней моей доброжелательнице, столь деятельной на литературном, политическом и общественном поприще Агнесе Мейер, за то, что она устроила мне свидание со швейцарским посланником доктором Бругманом и его женой, сестрою Генри Уоллеса. Беседа с этим умным и отзывчивым представителем страны, под защитой которой мы находились в течение пяти лет, была для меня и приятной и важной. Предметом нашего разговора явилась, естественно, темная судьба Германии, безысходность ее положения — ведь возможность капитуляции была, казалось, совершенно исключена.

Еще значительнее была для меня личная встреча с Максимом Литвиновым, которого наши хозяева пригласили на ланч вместе с его очаровательной женой-англичанкой. Эта очень живая, общительная и словоохотливая дама сразу же захватила

¹ Бабье лето (англ.).

² Целесообразности (англ.).

³ Поездки по союзным странам (англ.).

⁴ Библиотеке конгресса (англ.).

⁵ Министра юстиции (англ.).

⁶ Подданных враждебных стран (англ.).

инициативу в застольной беседе. Но затем мне представился случай выразить послу свое восхищение его довоенной политической позицией, его деятельностью, его речами в Лиге наций, его настоятельным утверждением, что мир неделим. Он всегда был единственным, кто называл вещи своими именами, кто — увы, тщетно — говорил правду. Литвинов поблагодарил меня несколько грустно. По-моему, на душе у него было тоскливо и горько — что, вероятно, объяснялось не только ужасными испытаниями, жертвами и муками, на которые обрекла его страну эта война. У меня создалось впечатление, что ему всячески затрудняют его миссию посредника между Востоком и Западом, более того, что ему уже недолго осталось пребывать в должности посла в Вашингтоне.

В часы, свободные от светских обязанностей, я пытался продолжить работу над текущей главой «Иосифа-кормильца», одной из последних, главой о благословении сыновей. Но таинственно-знаменательным представляется мне выбор книг, которые я во время этой поездки читал в поездах, а также по вечерам и в минуты отдыха, и которые, вопреки обычно соблюдаемой мною гигиене чтения, никак не соприкасались ни с моей тогдашней работой, ни с той, что стояла на очереди. Это были мемуары Игоря Стравинского, каковые я изучал «с карандашом в руке», то есть подчеркивая некоторые места, чтобы снова к ним возвратиться; и затем это были две книги, издавна мне знакомые: «Катастрофа Ницше» Подаха и воспоминания о Ницше Лу Андреас-Саломе, просматривая которые я тоже делал пометки карандашом. «Зловещая, недозволенная мистика, подчас вызывающая сострадание. Несчастный!» — вот запись в дневнике, относящаяся к этому чтению. Музыка, стало быть, и Ницше. Я пожалуй, не сумел бы объяснить, почему мои мысли и интересы получили в ту пору подобное направление.

Однажды к нам в нью-йоркскую гостиницу явился представитель издательства Армин Робинсон с подкупающе заманчивым планом книги под заголовком «The Ten Commandments»¹, которую предполагалось выпустить не только на английском, но и на четырех-пяти других языках. Идея книги была морально-полемическая. Десять всемирно известных писателей должны были в драматических новеллах высказаться по поводу преступного пренебрежения к нравственному закону, к каждой из десяти заповедей в отдельности, а от меня требовалось, чтобы я, за гонорар в 1000 долларов, написал предисловие к этому сборнику в виде небольшого эссе. К подобным, исходящим извне предложениям работы в поездках бываешь куда восприимчивее, чем дома. Я согласился и два дня спустя, в конторе адвоката, где встретил готовую как и я к сотрудничеству Сигрид Унсет, почти не глядя подписал изобиловавший ловушками и крючками договор, чем навеки и закрепил права предпринимателя на труд, которого еще не существовало в природе, о развитии которого у меня не было ни малейшего представления и к которому мне пришлось отнестись гораздо серьезнее, чем того требовал данный повод. Если «покупать кота в мешке» легкомысленно, то еще менее целесообразно его в мешке продавать.

Потрясающее событие — потопление французского флота вблизи Тулона французскими командирами и матросами — совпало для нас с днями, заполненными театром, концертами, приемами, встречами с друзьями, а сверх того еще всякого рода импровизированной, случайной работой. На страницах тетради, начатой еще в Швейцарии, обычно довольно спокойных, появляется теперь множество имен — тут и Вальтеры, и Верфели, и Макс Рейнгардт, и актер Кальвейс, и Мартин Гумперт, и издатель Ландсгоф, и Фриц фон Унру с женой, и милая, старая Аннетта Кольб, и Эрх фон Калер, и наша британская приятельница из Принстона Молли Шенстон, и американские коллеги младшего поколения, Гленуэй Уэсткот, Чарльз Найдер, Кристофер Лезер и, кроме того, наши дети. «Thanksgiving-Day»² мы провели вместе с гостями

¹ Десять заповедей (англ.).

² День Благодарения, праздник в память первых колонистов Массачусетса (англ.).

из Южной Америки на даче у Альфреда Кнопфа в Уайтплейне. В кругу лиц, говоривших по-немецки, читались куски еще не готовых книг. Калер познакомил нас с очень интересными отрывками из своей интеллектуальной истории человечества, которая должна была выйти под названием «Man the Measure»¹; сам я снова выступил с благодарной главой «возвещения» из «Иосифа-кормильца» и, прочитав сцену с чашей и сцену узнавания, снискал ту одобрительную поддержку, каковая, собственно, и является наградой и целью при таком устном исполнении более или менее «надежных» мест занимающего тебя труда. То, что ты усердно ковал долгими утренними часами, изливается на слушателей в какие-то стремительные минуты; иллюзия импровизации, свободно несущегося потока еще более усиливает впечатление от прочитанного, и, сумев удивить аудиторию, ты, в свою очередь, тешишься иллюзией, будто все обстоит как нельзя лучше.

III

Через Сан-Франциско, где мы навестили детей, нашего младшего сына-музыканта и его милую жену, швейцарку, и где меня опять привели в восторг небесно-лазоревого глаза маленького Фридо, моего любимого внука, этого обворожительного ребенка, к середине декабря мы вернулись домой, и я тотчас же возобновил работу над главой о благословении, по окончании которой оставалось изобразить только смерть и погребение Иакова, «великое шествие» из Египта в Ханаан. Не прошло и нескольких дней нового, 1943, года как я уже дописывал последние строчки четвертого романа об Иосифе, а стало быть, и всей тетралогии. Памятный, но уж конечно не легкий для меня день — четвертое января. Большой эпический труд, прошедший вместе со мной через все эти годы изгнания и придававший цельность моему бытию, был доведен до конца, закончен, и с плеч моих спало бремя, а это не такое уж приятное состояние для человека, который с юных своих дней, дней «Будденброков», жил с постоянным бременем на плечах и по-другому, кажется, не умеет и жить.

Антонио Боргезе с женой, с нашей Элизабет, были тогда у нас, и в тот же вечер, в семейном кругу, я прочитал две заключительных главы. Впечатление сложилось благоприятное. Пили шампанское. Бруно Франк, узнав об этом знаменательном событии, по-дружески взволнованно поздравил меня по телефону. Почему я последующие дни прожил «страдаю, тоскую и мучаюсь, в усталости и тревоге», ведомо одному лишь Господу Богу, на осведомленность которого, даже когда дело касается его самого, нам так часто приходится ссылаться. Быть может, на мое настроение повлияли разбушевавшийся фен и известие о том, что нацисты, с идиотской жестокостью, несмотря на вмешательство Швеции, решили выслать в Польшу восьмидесятилетнюю вдову Макса Либермана. А та предпочла принять яд... Русские войска продвигались тогда к Ростову, очищение Кавказа от немцев близилось к концу, и в сильной, уверенной речи перед новым Конгрессом Рузвельт заявил о предстоящем вторжении в Европу.

Я придумывал названия глав четвертого тома, занимался разбивкой текста на семь частей или «книг» и попутно читал такие вещи, как статью Гете «Израиль в пустыне», «Моисея» Фрейда, книгу «Пустыня и земля обетованная» некоего Ауэрбаха и, кстати сказать, Пятикнижие. Я давно уже задавался вопросом, не лучше ли было бы мне написать для вышеупомянутой книги знаменитостей не просто предисловие в виде эссе, а этакую органную прелюдию, как выразился позднее Верфель, — рассказ о провозглашении заповедей, этакую синайскую новеллу, очень органичную для меня как отзвук эпоса, от которого я еще не остыл. На подготовительные заметки для этой работы понадобилось всего лишь несколько дней. Однажды утром, в один присест, я разделался со срочной радиопередачей по случаю десятилетия нацистского влады-

¹ «Человек — мера [всех вещей]» (англ.).

чества и на следующее утро принялся писать повесть о Моисее, каковую успел довести до XI главы к 11 февраля, когда исполнилось десять лет с того дня, — это была годовщина нашей свадьбы, — в который мы с легкой поклажей покинули Мюнхен, не подозревая, что больше туда не вернемся. В неполных два месяца, то есть в довольно короткий для меня срок, я почти без исправлений написал эту историю, выдержанную, в отличие от «Иосифа» с его мнимонаучной обстоятельностью, в быстром темпе. В ходе работы, или еще раньше, я озаглавил ее «Закон», имея в виду не столько десять ветхозаветных заповедей, сколько нравственный закон вообще, человеческую цивилизацию как таковую. Я отнесся к данной теме со всей серьезностью, как ни шутивая моя обработка библейской легенды и каким бы вольтерьянским сарказмом — опять-таки в противоположность Иосифу — ни было окрашено это повествование. Вероятно, под неосознанным влиянием гейневского образа Моисея я придал своему герою черты не то чтобы Моисея Микеланджело, а самого Микеланджело, изобразив его взыскательным художником, тяжело и несмотря на огорчительные поражения трудящимся над неподатливым человеческим материалом. Проклятие, посланное в конце на головы негодяев, которым в наши дни дана была власть осквернить его детище, скрижали гуманности, шло от самого моего сердца и, по крайней мере под конец, не оставляет никакого сомнения в воинственной сущности этой в общем-то легковесной импровизации.

Только на следующее утро после окончания повести о Моисее я упаковал и убрал мифологическо-востоковедческие материалы к «Иосифу» — картины, выписки, черновики. Книги же, которые я читал для этой работы, остались на своих полках, образуя небольшую библиотеку. Стол и выдвижные ящики были пусты. И всего один день спустя, точнее говоря 15 марта, в моих вечерних записях-сводках, почти без связи с остальными заметками, впервые появляется шифр: «Доктор Фауст». «Просмотрены старые бумаги в поисках материала для «Доктора Фауста». Какие бумаги? Мне и самому невдомек. Однако эта запись, повторяющаяся и на следующий день, связана с упоминанием о письмах в Лос-Анжелос, профессору Арльту из University of California¹ и в Вашингтон, Мак-Лишу, содержавших просьбу предоставить мне во временное пользование книгу народных преданий о Фаусте и... письма Гуго Вольфа. Такое сочетание показывает, что, при всей своей туманности, идея, меня занимавшая, давно уже приобрела известную четкость. Речь явно шла о том, что зараженность является сатанински губительным стимулом к творчеству; особенности этого творчества тогда еще не определились, но многотрудность его уже не вызвала сомнений. «Утро за старыми записными книжками» — сказано в заметке от 27-го числа. «Отыскал три строчки 1901 года с планом «Доктора Фауста». Прикосновение к временам «Тонио Крегера», к мюнхенской поре, к так и не осуществленным планам романов «Возлюбленные» и «Майя». «Встает былая дружба и любовь». Стыд и волнение при встрече с этими горестями юности...»

Сорок два года минуло с того дня, когда я взял на заметку для возможной работы какую-то мысль о договоре художника с чортом, и отыскание, обнаружение старой записи вызывает у меня такую взволнованность, чтобы не сказать взбудораженность, благодаря которой мне становится совершенно ясно, что это скудное и расплывчатое тематическое ядро уже изначально обладало тем зарядом жизненной энергии и той атмосферой биографической повести, каковые заранее, задолго до моего собственного решения, предопределили перерастание новеллы в роман. Именно эта взволнованность тогда и расширила обычно столь лаконичные записи в моем дневнике до пространных разговоров с самим собой. «Только теперь я начинаю понимать, что значит остаться без «Иосифа», без задачи, которая все это десятилетие стояла рядом со мной, передо мной. Удобно было продолжать привычную работу. Хватит ли еще сил

¹ Калифорнийского университета (англ.).

на новые замыслы? Не исчерпана ли тематика? А если не исчерпана — будет ли еще охота?.. Пасмурно, дождь, холодно. С головной болью делал наброски и заметки для новеллы. Был в Лос-Анжелесе, на концерте, в ложе Штейнберга с его дамами. Горовиц играл фортепьянный концерт си-бемоль мажор Брамса, оркестр — увертюру к «Дон-Жуану» и «Патетическую» Чайковского. «На все вкусы», как говорили прежде. Но это шедевр его грусти, высшее, чего он мог достигнуть, и всегда в этом есть что-то прекрасное и трогательное, когда видишь, что талант, кто знает благодаря какому стечению обстоятельств, оказался на вершине своих возможностей. Вспоминаю, как много лет назад в Цюрихе Стравинский признался мне в своем преклонении перед Чайковским. (Я его об этом спросил...) У дирижера в артистической уборной... С удовольствием читал истории из «Gesta Romanorum»¹, затем «Ницше и женщины» Бранна и прекрасную книгу Стивенсона «Dr. Jekyll and Mr. Hyde»², думая о фаустовском материале, который, однако, никак не вырисовывается. Хотя патологию можно перенести в сказочный план, привязать к мифам, все равно она как-то пугает, трудности кажутся непреодолимыми, а тут еще подозрение, будто я потому страшусь этого предприятия, что всегда считал его своим последним».

Я перечитываю это и вижу, что так оно и было. Так оно и было, если говорить о возрасте этой почти не поддающейся определению идеи, об ее корнях, уходящих глубоко в мою жизнь, так оно и было, если вспомнить, что, оглядывая план своей будущей жизни, который всегда был рабочим планом, я издавна относил эту идею в самый конец. То, что я собирался сделать когда-нибудь на закате дней, я про себя называл своим «Парсифалем». И сколь бы это ни казалось странным — смолоду ставить себе в программу произведение позднего возраста, — дело обстояло именно так; отсюда, наверно, и специфическое, сказавшееся в некоторых моих критических опытах пристрастие к разбору старческих произведений, таких, как сам «Парсифаль», как вторая часть «Фауста», как последние пьесы Ибсена, как зрелая проза Штифтера или Фонтане.

Вопрос заключался в том, пришла ли уже пора браться за эту задачу, намеченную хоть и заблаговременно, но очень нечетко. Тут явно действовал какой-то запретительный инстинкт, углубленный догадкой, что «материал» взят весьма скользкий, что только ценой крови сердца, и немалой крови, удастся придать ему необходимую форму, — инстинкт усугубленный, наконец, смутным предчувствием каких-то бескомпромиссно радикальных требований, вытекающих из самого материала. Этот инстинкт можно было бы свести к формуле: «Сначала лучше еще что-нибудь другое!» Другим возможным занятием, предоставлявшим мне значительную отсрочку, была дальнейшая работа над «Признаниями авантюриста Феликса Круля», романом, отрывок которого я отложил в сторону еще перед первой мировой войной.

«К» (это моя жена) говорит о продолжении «Круля», коего не раз требовали друзья. Не то чтобы я был совсем далек от такой мысли, но мне казалось, что замысел, возникший во времена, когда проблема «художник и бюргер» доминировала, ныне уже устарел и перевыполнен «Иосифом». Однако вчера вечером, читая и слушая музыку, со странным волнением подумывал о возврате к «Авантюристу» — главным образом, с точки зрения цельности жизни. Тут есть своя прелесть — через тридцать два года снова начать с того места, где остановился перед «Смертью в Венеции», ради которой я и прервал «Круля». Вся основная и побочная работа, проделанная с тех пор, вклинилась бы в предприятие, затеянное в тридцать шесть лет, этакой вставкой, потребовавшей целого человеческого века... Выгодно строить на старом фундаменте».

Все это только и означает: «Сначала лучше еще что-нибудь другое!» И все-таки мне не давал покоя какой-то зуд, зуд любопытства к новому, неизведанно-опасному.

¹ Римские деяния (лат.).

² Доктор Джекил и мистер Гайд (англ.).

В последующие дни я опять отвлекался. Нужно было выполнить некоторые неотложные работы, написать радиопередачу для Германии и — в порядке участия в русско-американском обмене посланиями — открытое письмо Алексею Толстому. Меня тогда глубоко потрясла скоропостижная смерть Генриха Циммера, мужа Христианы Гофмансталь, одареннейшего индолога, чей труд об индийских мифах дал мне материал для «Обмененных голов». Меня занимали и заставляли определить свою позицию поступавшие из Нью-Йорка сообщения о кампании, которую вели Сфорца, Маритен и другие против Куденхоува с его клубом капиталистов и реакционной пан-Европой. Я с пристальным вниманием следил за войной в Северной Африке, где Монтгомери удалось остановить Роммеля. Тем временем, однако, пришли выписанные мною книги, народные предания о Фаусте и целое собрание писем Гуго Вольфа из Library of Congress, и, вопреки всем рассуждениям о «выгодах» возобновления «Круля», все записи в дневнике от конца марта и начала апреля свидетельствуют о подготовке к фаустовской теме.

«Выписки из книги о Фаусте. Вечером читал ее же. Вторая бомбардировка Берлина за последние двое суток... Выдержки из писем Вольфа. Мысли, мечты, заметки. Вечером — письма Вольфа к Гроэ. Неспособность к здравой оценке, дурацкий юмор, восхищение его скверными оперными либретто, глупости о Достоевском. Эвфорические симптомы безумия, которое затем, как и у Ницше, выразилось в мании величия, но ничего великого в себе не таило. Печальные иллюзии насчет опер. Ничего путного... Снова письма. Какую форму могло бы это принять? Строй повествования неясен. Даже время и место... наброски к фаустовской теме. После обеда — «История музыки» Пауля Беккера, подаренная им в 1927 году «для чтения в вагоне». Вечером — снова, и усиленно... Мощные и систематические бомбардировки гитлеровского континента. Продвижение русских в Крыму. Признаки скорого вторжения в Европу... Ужинали у Бруно и Лизель Франков в Биверли Хиллз. Он читал свою великолепно сделанную новеллу о нацистах — к четвертой заповеди. Я поделился своими фаустовскими планами...»

Как же так, неужели я мог уже этим делиться со старыми друзьями при полной неясности формы, фабулы, строя повествования, даже места и времени? Какие же слова я для этого выбрал? Во всяком случае, если не считать совещаний с женой, которая предпочла мою новую работу старой, я проговорился тогда впервые. Надо сказать, что чувствовал я себя скверно. Несмотря на ясную, теплую погоду, меня допекал катар верхних дыхательных путей, и я пребывал «в подавленном настроении и пессимистической неуверенности в своем творческом будущем. А ведь еще недавно я делал такие вещи, как «Фамарь», «Возвещение» и вторая половина «Моисея»!.. Читал о Ницше. Потрясен письмом Роде о нем. Ночью — гофманский «Кот Мурр». Читал труд Беккера о гайдновском артистизме, о ясности в смысле «по ту сторону шутиливости и строгости», в смысле преодоления реальности».

И все-таки в один из тех дней мне довелось разобрать папки с материалами к «Авантюристу». Результат был поразительный. То было «осознание внутреннего родства между фаустовской темой и этой (родства, основанного на мотиве одиночества, там трагично-мистическом, здесь юмористически-плутовском); однако фаустовская тема, хотя и не поддающаяся оформлению, кажется, подходит мне ныне больше, она современнее, насущнее»... Чаша весов опустилась. За драмой об Иосифе не суждено было последовать «сначала еще» плутовскому роману. Это уж надо было ждать от Господа Бога, чтобы даже в радикально-строгий и грозный лад, овеванный каким-то мотивом жертвенности и оказавшийся для меня более увлекательным и призывным, вкралась известная доля шутиливо-артистизма, пародии, иронии, тонкой забавности! Из заметок следующей недели явствует уже только одно: полное погружение в новую работу, когда, предаваясь воспоминаниям, накапливаешь материал и необходимые аксессуары, чтобы сделать осязаемой маячащую перед тобою тень.

«О немецком городском уложении в лютеровских местах. Вдобавок медицинские и богословские сведения. Наштупывание, попытки и появляющееся чувство овладения материалом. Прогулка с К. по горной дороге. Целые дни за письмами Лютера. Взялся за «Ульриха фон Гуттена» Д. Штрауса. Буду штудировать книги по музыке. Внимательнейше изучил труд Беккера. Покамест еще непочатый край — заселение книги персонажами, наполнение яркими окружающими фигурами. В «Волшебной горе» с этой целью использован персонал санатория, в «Иосифе» — библия, образы которой надлежало реалистически истолковать. В «Круле» мир мог быть некоей фантазмагорией. До известной степени он вправе быть ею и здесь, но то и дело нужна добротная реальность, а тут-то и не хватает опоры, наглядности... Придется как-то пустить в ход воспоминания, картины, интуицию. Но прежде надо придумать и установить окружение...»

В Нью-Йорк, профессору Тиллиху из Union Theological Seminary¹ было послано письмо с просьбой обрисовать процесс изучения богословия. Одновременно — знаменательное совпадение! — было получено письмо Бермана Фишера, сообщавшее, что шведы предлагают мне написать *книгу о Германии*, о ее прошлом и будущем. «Ах, если бы можно было все дела переделать. Но запросы эпохи, те, что она выражает устами людей, — ты их, в сущности, выполняешь; только по-иному, чем того требуют...» Однако к этим же дням относится письмо из Office of War Information² с благодарностью за «статью о будущем Германии, очень сочувственно принятую в Швеции». Я уже не помню, какая именно статья имелась в виду.

«Извлек для себя жалобы Фауста и насмешку «духа» (задумано как симфония). Заметки, выписки, обдумывание, временные расчеты, письма Лютера. Дюреровские картины. «Г. Вольф» Эрнеста Ньюэна, по-английски. Мысли о соотношении сюжета с немецкими делами, с немецким одиночеством в мире. Здесь кладезь символики... Читал «Молот ведьм». Мелочи мюнхенской жизни в дни молодости. Фигура Руд. Швердтфегера, скрипача цапфенштесерского оркестра (!)... Перечень персонажей и имена действующих лиц романа. «Pascal and the Medieval Definition of God» Нитце...»³

В кругу таких размышлений, и занятий я прожил до мая 43-го года, когда в эти кропотливые попытки и поиски, уже завладевшие всем моим существом и вобравшие в себя все мое прошлое, вторглись самые нежные, самые задушевные впечатления и чувства. К нам, на продолжительный срок, приехали погостить наши дети из Сан-Франциско, «с обоими мальчуганами, на вид крепкими и здоровыми. Как всегда, восхищаюсь прекрасными глазками Фридо (старшего). Перед обедом ходил с ним гулять. Он ел вместе с нами... Отраднo слушать лепет этого малыша». Вторник, 4-го числа. «Днем прогулка с маленьким Фридолином. По окончании чего бы то ни было он говорит «буде». Это для Непомука Шнейдевейна. Вечером читал «Malleus maleficarum»...⁴ Фридо очень привязан ко мне... Ланч в его обществе после прогулки в «Мирамаре», малыш вел себя очень хорошо...» Как раз в те дни было написано письмо Бруно Вальтеру, в Нью-Йорк, письмо, «затрагивавшее и данный предмет» (то есть набросок романа) и заодно полное всяких историй и анекдотов, рожденных общением с этим очаровательным ребенком. Ответ Вальтера свидетельствовал об его одобрителном интересе к проекту «музыкального романа», на редкость, как он выразился, соответствующего моему призванию, и заключал в себе предложение, которое я — сам не знаю, из каких чувств, — назвал «дельным советом», — отвести Фридо определенную роль в романе. Ему, Вальтеру, этот эпизод виделся как некое «allegretto moderato»⁵.

¹ Американской богословской семинарии (англ.).

² Военно-информационное управление (англ.).

³ Паскаль и средневековое определение Бога (англ.).

⁴ Молот ведьм (лат.).

⁵ Умеренно быстро (итал.).

Дорогой мой друг и превосходный музыкант не подозревал, каким холодом бесчеловечности веет от этой книги конца, он не знал, что история этого ангелочка приобретет у меня совершенно иное звучание, чем *allegretto moderato*.

Тем временем, свидетельствуя о сложности моего замысла, собралась уже изрядная кипа заметок: около двухсот листов ин-октаво, на которых, в пестром беспорядке, с отбивками в виде черточек, громоздился реквизит разнообразнейших сведений: лингвистических, географических, общественно-политических, богословских, медицинских, биологических, исторических, музыкальных. Однако подбор и накапливание целенаправленного материала все еще продолжались, и я не без удовольствия отмечаю, что даже при такой увлеченности и сосредоточенности у меня все-таки сохранялась восприимчивость к впечатлениям посторонним, не причастным к волшебному кругу работы. Вот, например: «В «Нейшен» блестящая статья Генри Джеймса о Диккенсе, написанная в 1864 году, в двадцать два года. Поразительно! Разве в Германии такое бывает? Критическая культура Запада неизмеримо выше... Засиделся за книгой Нибура «Nature and Destiny of Man...»¹ До глубокой ночи дочитывал великолепный «Горный хрусталь» Штифтера». Зато в другом месте: «Coalminer strike², тяжелый кризис. Правительство контролирует рудники. Солдаты для защиты штрейкбрехеров, а таких раз-два, и обчелся... Читал любопытные вещи о бесславном поражении немцев в Африке. Ничего похожего на «до последней капли крови», на нацистский фанатизм. Вечером с Бр. Франком о здешней новой волне забастовок и о виновности администрации. Тревога за американский home front...³ Мощнейшая бомбардировка Дортмунда более чем тысячей самолетов. Вся Европа лихорадочно ждет вторжения. Подготовительные меры французской подпольной организации. Объявление всеобщей забастовки. Приказ оккупационным войскам в Норвегии «стоять насмерть», — чего никогда не случается. В Африке взято в плен 200000. Победа объясняется превосходством в количестве и качестве оружия... Ожидание вторжения в Италию. Признаки наступления на Сардинию и Сицилию... Вечером «Love's Labour's Lost»⁴.

Шекспирова пьеса относится к «делу». Она входит в тот самый круг, вне которого ревет и клокочет мир. За ужином гости — Верфели и Франки. Беседа о Ницше, о сострадании, которое он внушает — и к нему самому, и к неизлечимым вообще. Предполагаю встретиться с Шенбергом и Стравинским... Обдумывание временных и возрастных соотношений в романе, дат и имен... О Рименшнейдере и его времени. Приспособление материала к своим задачам. Фольбаховское инструментоведение. Заметки для уточнения музыкальной манеры Леверкюна. Имя для него — Ансельм, Андреас или Адриан. Наброски о фашистских временах. Встреча с Шенбергами у Верфелей. Много выпытал у него о музыке и композиторском житье-бытье, очень кстати, что он сам настаивает на дальнейшем общении наших семей. У нас ужинали Нейманы. Пока жены готовили трапезу (мы обходимся без прислуги), я развивал перед Н. план романа, очень его поразивший и заинтересовавший».

Этого я никогда не забуду. Он жадно ловил каждое мое слово, лишь изредка прерывая меня междометиями, и участливое внимание этого верного друга, которого я всегда уважал, еще раз подтверждало всю справедливость тех приятных и зловещих посулов, что исходили от замысла, поведенного ему моим торопливым рассказом. Сделка с чортом как бегство от тяжелого кризиса культуры, страстная жажда гордого духа, стоящего перед опасностью бесплодия, развязать свои силы любой ценой и сопоставление губительной эвфории, ведущей в конечном счете к коллапсу, с фашистским одурманиванием народа — вот что, по-видимому, произвело наиболее сильное

¹ Природа и судьба человека (англ.).

² Забастовка шахтеров (англ.).

³ Внутренний фронт (англ.).

⁴ «Бесплодные усилия любви» (англ.).

впечатление на Неймана. Мне передали, что и на обратном пути он все еще обсуждал с женой доверенные ему планы.

23 мая 1943 года, в воскресное утро, через два с лишним месяца после обнаружения старой записной книжки, в тот же день, когда принимается за работу мой рассказчик, Серенус Цейтблом, я начал писать «Доктора Фаустуса».

IV

В какой именно момент я решил поставить между собой и героем посредника — «друга», то есть не рассказывать жизнь Адриана Леверкюна самолично, а заставить другое лицо ее рассказать и, следовательно, написать не роман, а биографию со всеми присущему данному жанру особенностями — это по моим тогдашним заметкам не удается определить. Конечно, известную роль тут сыграли воспоминания о пародийной биографии Феликса Круля, но, кроме того, существовала досадная необходимость в таком приеме, ибо он позволял ввести хоть какую-то светлую струю в эту мрачную материю, чтобы она не так ужасала и меня и читателя. Развязать демонизм типично недемоническими средствами, поручить его изображение гуманно-чистой, простой душе, душе, одержимой любовью и страхом, — идея сама по себе смешная, хоть она и снимала с меня часть бремени, давая мне возможность как-то опосредствовать свою взволнованность всем тем непосредственным, личным, знакомым, что лежало в основе моего жуткого замысла, и пародийно передать собственную взволнованность в смятении и трепете этой робкой души.

Но главным моим выигрышем при введении фигуры рассказчика была возможность выдержать повествование в двойном временном плане, полифонически вплетая события, которые потрясают пишущего в самый момент работы, в те события, о которых он пишет, так что дрожание его руки получает двоякое и вместе с тем однозначное объяснение в грохоте отдаленных взрывов и во внутреннем содрогании.

Профессор Цейтблом начинает писать в тот же день, когда я и в самом деле нанес на бумагу первые строки, и это вообще характерно для данной книги: в ней есть и самобытная действительность, и то, что является, с одной стороны, художественным приемом, артистическим стремлением к полному и мистифицирующему правдоподобию выдуманной биографии и выдуманного творчества Леверкюна, но с другой стороны — неведомой мне дотоле и все еще смущающей меня фантастической механикой, беспощадной при монтажке фактических, исторических, личных и даже литературных деталей; как в «панорамах», которые показывали во времена моего детства, здесь трудно различить переход осязаемо-реального в иллюзорную перспективу рисунка. Такая техника монтажа, непрестанно поражающая и даже пугающая меня самого, входит в самый замысел, в самую «идею» книги, она связана с той редкой душевной свободой и широтой, что вызвала к жизни этот роман, связана с его хоть и сказовой, а все-таки неподдельной прямоотой, связана, наконец, с тем смыслом тайной исповеди, который в него вложен и из-за которого я вообще не думал о его опубликовании, куда писал.

Включение в роман живых, вполне конкретных людей, отчего они становятся столь же реальны или нереальны, как прочие персонажи книги, — это еще весьма бледный пример монтажа по такому принципу. Сошлюсь на то, что в трагедию Леверкюна вплетена трагедия Ницше, чье имя сознательно ни разу не упомянуто в романе, ибо он-то и заменен моим вдохновенно-больным музыкантом, а следовательно, не должен вообще существовать в природе; сошлюсь на точное воспроизведение случая с Ницше в кельнском публичном доме и симптомов заболевания Ницше, на цитаты чорта из «Ессе homo»¹, на диетическое меню, цитируемое — читатель вряд ли

¹ Се человек (лат.).

это заметит — по письмам Ницше из Ниццы, или на столь же неприметную цитату о последнем визите Дейсена, приехавшего с букетом цветов к Ницше, который уже пребывал во мраке безумия. В цитате как таковой, несмотря на ее механическую природу, есть что-то музыкальное, а кроме того, цитата — это действительность, превращенная в вымысел, и вымысел, впитавший в себя действительность, то есть некое причудливое и волнующее смешение различных сфер. Нечего и говорить, что цитатой является воспроизведение в качестве мадам де Тольна приятельницы-невидимки Чайковского госпожи фон Мек. Цитатой является также история со сватовством, когда к любимой неосторожно (в романе, впрочем, отнюдь не «неосторожно») посылают друга, чтобы тот передал ей предложение руки и сердца. Коль скоро в романе так много «Ницше», так много, что «Фаустуса» даже назвали романом о Ницше, то и в треугольнике Адриан — Мари Годо — Руди Швердтфегер тоже легко усмотреть цитату, воспроизводящую посредничество Ре, через которого Ницше сделал предложение Лу Андреас, и Гуго фон Зенгера, который передал его предложение фрейлейн Трампедах, будучи с нею почти что помолвлен. Если, однако, судить с точки зрения самого Левверкюна, то это скорее уж реминисценция шекспировская — цитата из сонетов, с каковыми Адриан никогда не расстается и «сюжет» каковых, то есть соотношение: поэт — возлюбленная — друг, а стало быть, мотив предательского сватовства, повторяется во многих драмах Шекспира. Они названы поименно в том месте, где говорится о книгах, лежащих на столе моего музыканта: это — «Как вам угодно», «Много шуму из ничего» и «Два веронца», и во время беседы с Цейтбломом, который, как и читатель, ни о чем не догадывается, Адриан, мрачно потешаясь, оперирует прямыми цитатами из этих пьес. Слова «Ты мог бы оказать мне большую услугу» — это ссылка, ссылка на «Много шуму из ничего», где Клавдио признается принцу в своей любви к Геро. Позднее Адриан произносит горькую фразу из «Двух веронцев»: «Ибо таковы нынешние друзья» — и почти дословно приводит стихи:

Кому же верить, если на тебя
Твоя, твоя же правая рука
Могла подняться?

Точно так же в сцене в Пфайферинге, одной из любимейших моих сцен, Адриан убеждает Руди выполнить свою роковую просьбу словами из «Как вам угодно»:

Юнец, ты будешь принят благосклонней,
Чем умудренный возрастом посол.

И затем, притворно сетуя на свою глупость в разговоре с Цейтбломом, он прибегает к образу незадачливого мальчишки (опять «Много шуму из ничего»), «который нашел птичье гнездо и на радостях показал его товарищу, а тот возьми да укради чужое добро». А Серенус, не сознавая, что продолжает цитату, отвечает: «Нельзя же считать, что доверчивость — это грех и позор. Грех и позор, конечно, на совести вора». Цейтблomu еще повезло, что он не говорит дословно: «Грех на укравшем».

В своей интересной книге о Шекспире Франк Гаррис, кажется, первый подметил, что имеющийся в сонетах мотив сватовства трижды встречается в Шекспировых драмах. Этот мотив вмонтирован в «Фаустуса»: его, в силу особого своего отношения к «свату» Швердтфегеру, пускает в ход Адриан — сознательно, с каким-то даже угрюмым озорством, подражая не то мифу, не то шаблону, и с ужаснейшей целью. То, что он проделывает с Руди — это заранее обдуманное убийство в угоду чорту, и Цейтблом это знает...

Нужно ли, говоря о таком монтаже за счет действительности упомянуть и вызвавшее столько нападок соотношение с Адрианом Левекюном двенадцатитоновой или двенадцатирядовой концепции Шенберга? Пожалуй, я обязан это сделать, и книга, по желанию Шенберга, будет впредь выходить с припиской, разъясняющей всем, кто не в курсе дела, право на духовную собственность. Мне это не совсем по душе — и даже не потому, что подобное пояснение чуть-чуть нарушит сферическую замкнутость созданного в романе мира, а по той причине, что в сфере моей книги, этого мира дьявольской сделки и черной магии, идея двенадцатитоновой техники приобретает такой оттенок, такой колорит, которого у нее — не правда ли? — вообще-то нет и который в известной мере делает ее поистине моим достоянием, то есть достоянием моей книги. Идея Шенберга и мой особый ее поворот настолько несхожи, что, помимо всяких соображений стилистического единства, мне было бы просто обидно назвать его имя в тексте.

V

В то воскресное утро, когда я начал писать, весь ход, все события книги были мне, по-видимому, обозримо ясны, хотя это отнюдь не явствует из сохранившихся заметок, да и вообще никакого письменного наброска у меня не имелось; по-видимому, я уяснил себе материал настолько, что мог сразу же включить в работу весь комплекс мотивов романа, дав в первых же строчках глубокую общую перспективу и приняв личину биографа, увлеченного своим предметом, то и дело тревожно забегающего вперед и теряющегося в материале. Однако его волнение было моим волнением, я пародировал собственную увлеченность, чувствуя, сколь благотворна эта игра, эта сказовая манера, эта косвенность моей ответственности при той решительной воле к непосредственному излиянию, что не щадит ни действительности, ни сокровеннейшей тайны. Как нужны были иллюзия и маска перед лицом задачи, вся серьезность которой на этот раз впервые открылась мне уже в самом начале. Если прежние мои работы — во всяком случае, большинство их — и приобретали монументальный характер, то получилось это сверх ожидания, без преднамерения: «Будденброки», «Волшебная гора», романы об Иосифе, да и «Лотта в Веймаре» выросли из очень скромных повествовательных замыслов; в сущности, только «Будденброки» и были задуманы как роман, и вдобавок, как маленький роман. На титульном листе рукописи «Лотты в Веймаре» так и значится: «Маленький роман». На этот раз, в отношении труда моей старости, дело впервые обстояло иначе. В этот единственный раз я знал, чего я хотел и какую задачу перед собою поставил: я задал себе урок, который был ни больше, ни меньше, чем роман моей эпохи в виде истории мучительной и греховной жизни художника. При всей своей любопытной новизне такая работа меня страшила. Желать, чтобы произведение стало всеобъемлющим, заранее планировать его как всеобъемлющее — в этом, думается, не было ничего полезного ни для произведения, ни для состояния автора. Побольше шутливости, ужимок биографа, стало быть, глумления над самим собой, чтобы не впасть в патетику — всего этого как можно больше! И супруга моего гуманиста-повествователя была названа Еленой Эльгафен.

На следующий же день после того, как я начал, мне снова пришлось взяться за другую, злободневную работу: нужно было подготовить очередную немецкую радиопередачу, в тот месяц посвященную памяти сожженных фашистами книг. В конце мая рукопись составляла всего две страницы. Но хотя в середине июня я ездил читать лекции в Сан-Франциско и на эту поездку, потребовавшую определенной литературной подготовки, ушло больше дней, чем мне хотелось бы, в тот месяц, завершающий месяц шестьдесят восьмого года моей жизни, накопилось уже четыре главы «Фаустуса», а 28-го числа, как свидетельствует дневник, состоялась первая устная публикация

части романа: «Ужинали с Франками. Затем, в кабинете, читал вслух из «Доктора Фаустуса» первые три главы. Был очень возбужден, и слушателям явно передалось волнение, которым проникнута книга».

Меня занимает Штраусова биография Гуттена. От профессора Тиллиха пришел ответ с информацией об изучении богословия. Я читал комментарии Лютера к апокалипсису и мемуары Берлиоза в английском переводе. На вечере у Фейхтвангеров мы встретили, кроме мисс Додд, дочери бывшего посла в гитлеровской Германии, актера Гомулку и среди прочих Франца Верфеля, который в тот раз впервые рассказал мне о своей новой затее, фантастическом романе-утопии «Звезда нерожденных», и о великих трудностях, с нею связанных. Я преисполнился братских чувств. Вот и товарищ — еще один, задавшийся сумасшедшей, наверно, так и недостижимой целью...

Несколько дней спустя мне в руки попала книга Эрнста Крженека «Music Here and Now»¹, оказавшаяся превосходным пособием. «Долго читал Music² Крженека», — эта запись многократно встречается в дневнике. Одновременно в каком-то журнале я случайно напал на любопытнейшие сведения о духовной музыке у Pennsylvania Seventh-day baptists³, иными словами, на чудесную фигуру Иоганна-Конрада Бейселя, каковую тотчас же и решил вставить в лекции заики Кречмара, открывающие юному Адриану (а заодно и читателю) царство музыки. Образ Бейселя, этого забавного «законодателя» и учителя, проходит затем через весь роман.

Удивительно много хлопот доставила мне музыкальная техника, овладеть которой я безусловно обязан был хотя бы настолько, чтобы специалисты (а нет специальности, оберегаемой более ревниво) не стали надо мной издеваться. Ведь я всегда жил в соседстве с музыкой, она была для меня неиссякающим источником творческого волнения, она научила меня искусству, я пользовался ее приемами как повествователь и пытался описывать ее создания как критик, так что даже один из авторитетов в этой области, Эрнст Тох, однажды по поводу моего «музицирования» высказал мысль об «уничтожении границы между музыкой как особым цехом и музыкой как универсальной стихией». Вся беда заключалась в том, что одной универсальностью на этот раз нельзя было довольствоваться, ибо тут она уже граничила бы с дилетантской профанацией. Требовалось именно цеховое. Если пишешь роман о художнике, нет ничего более пошлого, чем только декларировать, только восхвалять искусство, гений, произведение, только витийствовать насчет их эмоционального воздействия. Здесь нужна была реальность, нужна была конкретность — это было мне яснее ясного. «Мне придется изучать музыку», — заявил я своему брату, рассказывая ему о новом замысле. А между тем в дневнике есть такое признание: «Изучение музыкальной техники пугает меня и вызывает у меня скуку». Это не значит, что у меня не хватало усердия и прилежания, чтобы путем чтения и исследований войти в специфику музыкального творчества так же, как я, например, вошел в мир ориентализма, первобытной религии и мифов, когда нес свою службу «Иосифу». Я мог бы составить небольшой, дюжины в две, каталог музыковедческих книг, английских и немецких, прочитанных мною «с карандашом в руке», то есть так обстоятельно и пытливо, как читают только в творческих целях, ради определенного произведения. Но такой контакт с материалом не означал еще настоящего изучения музыки, он еще не гарантировал, что я не обнаружу своего невежества в конкретных вопросах и, следовательно, воспроизвести творения выдающегося композитора так, чтобы читателю казалось, будто он их действительно слышит, чтобы он в них *поверил* (а на меньшем я не хотел помириться), у меня еще не было возможности. Я чувствовал, что мне нужна помощь извне, нужен какой-то советчик, какой-то руководитель, с одной стороны, компетентный в музыке,

¹ «Современная американская музыка» (англ.).

² Музыку (англ.).

³ Пенсильванских адвентистов седьмого дня (англ.).

а с другой стороны, посвященный в задачи моей эпопеи и способный со знанием дела дополнять мое воображение своим; я с тем большей готовностью принял бы такую помощь, что музыка, поскольку роман трактует о ней (ибо, кроме того, он еще, надо сказать, подходит к ней чисто практически — но это уже особая статья), была здесь только передним планом, только частным случаем, только парадигмой более общего, только средством, чтобы показать положение искусства как такового, культуры, больше того — человека и человеческого гения в нашу глубоко критическую эпоху. Роман о музыке? Да. Но он был задуман как роман о культуре и о целой эпохе, и я готов был, ничтоже сумняшеся, принять любую помощь в реальной конкретизации этого переднего плана и средства.

Помощник, советчик, участливый руководитель нашелся — и притом как нельзя более подходящий и по своим недюжинным специальным знаниям, и по своим духовным достоинствам. «Книга Бале «Вдохновение в музыкальном творчестве» — записано в дневнике в начале июля 43-го года. — «Ценно. Прислана доктором *Адорно*». Сейчас я затрудняюсь сказать, что было в этой книге такого уж ценного для моей работы. Но имя заботливого ее владельца (который, следовательно, знал о моем начинании) снова попадает в моих записях недели через две — в дни взятия Палермо и большого русского наступления, когда я писал VII главу «Фаустуса». Статья Адорно «К философии современной музыки»... Читал статью Адорно... Внимательно читал рукопись Адорно... Вечером снова читал эту музыкальную статью, которая дает мне обильную информацию, одновременно показывая мне всю трудность моей затеи... Закончил статью Адорно. Мгновенные озарения, проясняющие позиции Адриана. Трудности должны сначала встать во весь рост, а потом уже их можно преодолевать. Отчаянное положение искусства — это как раз то, что мне нужно. Не терять из виду главной мысли — благоприобретенного вдохновения, при котором, охмелев, воспаряешь над трудностями...»

Здесь в самом деле было нечто «ценное». Я нашел артистически-социологическую критику ситуации, очень прогрессивную, тонкую и глубокую, поразительно близкую идее моего произведения, «опусу», в котором я жил и которому служил. Я сказал себе: «Это тот, кого я ищу».

Теодор Визенгруд-Адорно родился в 1903 году во Франкфурте-на-Майне. Его отец был немецкий еврей, его мать, певица сама, — дочь французского офицера корсиканского (а первоначально — генуэзского) происхождения и немецкой певицы. Он — двоюродный брат того самого Вальтера Беньямина, затравленного нацистами, который оставил на редкость остроумную и глубокую книгу о «Немецкой трагедии», по сути целую историю и философию аллегории. Адорно — он носит девичью фамилию матери — человек такого же прихотливого, трагически-мудрого и изысканного ума. Выросший в атмосфере теоретических (в том числе политических) и художественных интересов, он изучал философию и музыку и в 1931 году получил звание приват-доцента Франкфуртского университета, где преподавал философию и откуда его изгнали нацисты. С 1941 года он живет почти рядом с нами, в Лос-Анжелосе.

Этот замечательный человек всю свою жизнь отказывался отдать профессиональное предпочтение либо философии, либо музыке. Он достаточно ясно сознавал, что в обеих этих областях преследует, в сущности, одни и те же цели. Диалектический склад ума и склонность к социально-исторической философии сочетаются у него со страстной любовью к музыке, а это в наши дни не такое уж уникальное сочетание, ибо оно обосновано самой проблематикой нашего времени. Музыку, композицию и фортепьяно, Адорно изучал сначала у франкфуртских педагогов, затем у Альбана Берга и Эдуарда Штейермана в Вене. С 1928 по 1931 год он редактировал венский «Анбрух», отстаивая радикальную новейшую музыку.

Но почему же этот «радикализм», представляющийся профанам каким-то музыкальным санкюлотством, отлично уживается с тонким чувством традиции, с явно историческим подходом к предмету, с взыскательнейшим утверждением умелости, строгости и добротности в работе — как я всегда замечал, наблюдая за музыкантами этого типа? Если музыканты этого типа за что-то и нападают на Вагнера, то не столько за его романтизм, за его неводержимость, за его «бюргерство» или демагогичность, сколько за то, что он часто попросту «плохо писал»... Не берусь судить об Адорно как о композиторе. Но его знание наследия, его владение всей сокровищницей музыки поистине беспримерно. Одна американская певица, сотрудничающая с ним, сказала мне: «Это невероятный человек. Нет ни одной ноты на свете, которой бы он не знал».

Та рукопись, что он мне тогда прислал, сразу же насторожившая меня своей «подходящостью» — она поразительно соответствовала сфере моего романа, — была посвящена в основном Шенбергу, его школе и его двенадцатитоновой технике. Не оставляя никаких сомнений в проникновенном понимании автором всей значительности Шенберга, эта статья вместе с тем подвергает глубокой и дальновидной критике его систему: в предельно лаконичном, даже лапидарном стиле, напоминающем Ницше и еще больше — Карла Крауса, она объясняет ту фатальную неизбежность, с которой объективно необходимое прояснение музыки в силу столь же объективных причин, действующих как бы без ведома композитора, снова возвращает музыку к ее темным мифологическим истокам. Можно ли было найти лучшее соответствие моему миру «магического квадрата»? Я открыл в себе или, вернее, заново ощутил давно уже изведенную готовность присвоить все, что воспринимается как свое собственное, все, что имеет отношение ко мне, то есть к «делу». Описание серийной музыки и критика ее в том виде, как они даны в диалоге XXII главы «Фаустуса», основаны целиком на анализах Адорно; на них же основаны и некоторые замечания о музыкальном языке Бетховена, встречающиеся уже в начале книги в разглагольствованиях Кречмара, замечания, стало быть, о том призрачном отношении между гением и нормой, которое закрепляет смерть. Эти мысли, встретившиеся в рукописи Адорно, также показались мне «странно» знакомыми, и по поводу душевного спокойствия, с каким я варьировал их устами своего заики, можно сказать только следующее: при продолжительной духовной деятельности очень часто случается так, что соображения, некогда высказанные тобой, возвращаются к тебе же, но уже в ином, новейшем чекане и в другой связи, напоминая тебе тебя самого и твое достояние. Мысли о смерти и форме, о личном и объективном вполне могли представиться автору некоей венецианской новеллы, написанной тридцать пять лет назад, воспоминаниями о себе самом. Они могли занять известное место в философской статье младшего собрата и при этом играть действительную роль в моей картине эпохи и человеческих душ. Для художника мысль как таковая никогда не является самодовлеющей ценностью и собственностью. Ему важна только ее действительность в интеллектуальном механизме произведения.

Кончался сентябрь 43-го года, и я работал уже над IX главой, хотя и не был доволен восьмой, лекциями Кречмара в тогдашнем их виде; однажды после ужина у нас я прочитал Адорно эту восьмую, «За ужином — о частностях философии музыки. Затем чтение главы о лекциях. Верность моего понимания музыки засвидетельствована самым лестным образом. Отдельные мелкие замечания, иные из них легко, иные — трудно принять. В общем принесло успокоение...» Надолго его не хватило, этого успокоения. Ближайшие же дни опять ушли на поправку, чистку, расширение главы о лекциях, а в начале октября (я тем временем снова принялся за IX главу) мы провели вечер в доме Адорно. Атмосфера была невеселая. Франц Верфель перенес первый тяжелый сердечный припадок, от которого все еще не мог оправиться. Я прочитал три страницы о фортепьяно, незадолго до того вставленные в мою непомерно разросшуюся главу, а наш хозяин поделился с нами своими изысканиями и мысля-

ми о Бетховене, пустив в ход некую цитату из «Рюбецаля» Музеуса. Затем разговор зашел о гуманности как очищении всего земного, о связи между Бетховеном и Гете, о гуманизме как романтическом протесте против общества и установившихся норм (Руссо) и как бунте (прозаическая сцена в «Фаусте» Гете). Потом Адорно сыграл мне полностью сонату опус 111, что было для меня весьма поучительно. Я стоял у рояля и слушал его с величайшим вниманием. На следующее утро я поднялся очень рано и три дня посвятил переделке и отделке лекции о сонате, чем значительно обогатил и улучшил эту главу, да, пожалуй, и всю книгу. Среди поэтических словесных эквивалентов, которыми передана тема ариетты в ее первоначальной и более полной, окончательной форме, я, чтобы скрытно выразить свою благодарность Адорно, выгравировал фамилию его отца — «Визенгрунд».

Через несколько месяцев, уже в начале 1944 года, когда у нас по какому-то поводу собрались гости, я прочитал Адорно и Максу Горкгеймеру, его другу и коллеге по «Institute for Social Research»¹, первые три главы романа и затем эпизод с опусом 111. На обоих это произвело необычайно глубокое впечатление, чему, как мне показалось, особенно способствовал контраст между чисто немецкой фактурой и интонацией книги, с одной стороны, и совсем иным личным моим отношением к нашей беснующейся родине — с другой. Адорно, задетый за живое как музыкант и вдобавок растроганный памятным подарком, которым я отблагодарил его за его поучительную игру, подошел ко мне и сказал:

— Я мог бы слушать всю ночь напролет!

С тех пор я не выпускал его из поля зрения, отлично зная, что его, именно его помощь понадобится мне в ходе моей долгой работы.

VI

24 июля 43-го года исполнилось шестьдесят лет моей жене; в этот день мы вспоминали печальную пору нашего изгнания, Санари-сюр-Мер, где было отпраздновано ее пятидесятилетие, Рене Шикеле, теперь уже усопшего друга, который тогда был с нами, и все пережитое за эти годы. В числе прочих пришла поздравительная телеграмма от нашей Эрики, военного корреспондента в Каире. Как раз в то время мы узнали о падении Муссолини; пост премьер-министра и верховного главнокомандующего занял Бадольо, и, несмотря на официальные заверения, что «Италия сдержит свое слово и будет продолжать войну», следовало ожидать дальнейших перемен в руководстве. *Militia*² перешла уже в подчинение армии, на всем полуострове стихийно возникали митинги в знак радости и стремления к миру, и газеты заметно изменили тон. «*Siamo liberi!*»³ Это провозгласила «Коррьере дела сера».

Я сосредоточенно читал шиндлеровскую биографию Бетховена, мещанскую по своему духу, но занимательную, как анекдот, и по существу поучительную книгу. Глава о Кречмаре была на полном ходу, однако записи тех дней говорят об усталости и подавленности, о намерении временно оставить роман, продвижение которого я форсировал, и заняться вашингтонской лекцией, назначенной мною на осень, — в надежде, что с окончанием этой работы у меня снова появится вкус к «дьявольской книге». «После семнадцати страниц первый бурный прилив ослаб. Кажется, нужна передышка, но и ни на что другое я сейчас не гожусь». Тем не менее одна небольшая, отвечавшая моим товарищеским чувствам работа была выполнена очень быстро. Эмиграция готовилась к празднованию шестидесятилетия Альфреда Деблина, и для альбома рукописных поздравлений, заботы о котором взял на себя Бертольд Фир-

¹ Институту общественных наук (англ.).

² Ополчение (англ.).

³ Да будем свободны! (итал.).

тель, я исписал прекрасный, ин-фолио, лист пергамента свидетельствами искреннего уважения к могучему таланту автора «Валленштейна» и «Берлин, Александерплатц», влачившего в Америке униженно неприглядное существование. Я присутствовал и на самом чествовании, в Плэй Хаузе, на Монтана Авеню, сопровождавшемся обильной программой декламационных и музыкальных номеров. Выступал и мой брат Генрих, а закончился вечер изящной и приятной речью самого виновника торжества. «Затем — на bowl'e»¹ — записано в дневнике. «Разговор с Деблином и Эрнстом Тохом о музыке последнего. Удивляет его восхищение «Палестриной» Пфитцнера. Слишком, мол, превозносят атональность. Она несущественна. Вечно-романтическое начало музыки...»

Я занялся наметками к лекции и ее организацией. Речь идет о докладе, опубликованном позднее в «Атлантик Мансли» под заголовком «What is German»². Я диктовал его жене и собственноручно вставлял дополнения, а закончив диктовку, опять, после двухнедельного перерыва, сел править и продолжать роман. Чтение старых его глав таким восприимчивым слушателям, как Бруно и Лизель Франки, должно было как-то поднять тонус. «Встревоженность — вот оно, надлежащее, органичное для этой книги состояние». Тревогу, однако, внушали также и внешние обстоятельства, скрытые политические токи войны, к которым, как всегда, перешла беседа от личных проблем. «Говорил с друзьями о плохом отношении к России, о недостатке единства, о недоверии из-за отсутствия настоящего второго фронта, об отозвании Литвинова и Майского. Такое впечатление, что дело идет уже не столько об этой войне, сколько о подготовке следующей...» Это написано в августе 1943 года...

Магнетизм интереса, заполняющего душу, могуч и таинствен. Непроизвольно, без всяких усилий с твоей стороны, он дает направление всем твоим разговорам, неминуемо вовлекая их в свою сферу. Все без исключения светские встречи, нарушавшие в ту пору размеренность моей жизни, проходили как нарочно под знаком музыки. «Ужинали у Шенбергов в Брентвуде. Превосходный кофе по-венски. С Ш. много говорили о музыке...» «Суаре у Верфелей со Стравинским, о Шенберге...» «Buffet dinner³ у Шенберга по случаю его шестидесятидевятiletия. Много гостей. Соседи за столом — Густав Арльт, Клемперер, госпожа Геймс-Рейнгардт. Довольно долго в обществе Клемперера и Шенберга. Слишком много говорил...» Как раз в то время Шенберг прислал мне свое «Учение о гармонии» и вдобавок либретто своей оратории «Веревочная лестница», где религиозная поэтичность, по-моему, не нашла себе четкой формы. Тем сильнее меня привлек его неповторимый учебник, педагогическая манера которого — это псевдо-консерватизм, редкостное смешение традиционности с новаторством. На ту же пору, кстати, пришлось и общение с Артуром Рубинштейном и его семьей. Наблюдать жизнь этого виртуоза и баловня судьбы мне всегда просто отрадно. Талант, повсюду, вызывающий восторг и поклонение и шутя справляющийся с любыми трудностями, процветающий дом, несокрушимое здоровье, деньги без счета, умение находить духовно-чувственную радость в своих коллекциях, картинах и драгоценных книгах — все это, вместе взятое, делает его одним из самых счастливых людей, каких мне когда-либо случалось видеть. Он владеет шестью языками — если не больше. Благодаря космополитической пестроте своих речей, усыпанных смешными, очень образными имитациями, он блистает в салоне так же, как блистает на подмостках всех стран благодаря своему необычайному мастерству. Он не отрицает своего благополучия и, конечно, знает себе цену. Однако я записал характерный случай, когда естественный обоюдный респект к «иной сфере» вылился в некий диалог между ним и мной. Однажды, после того как он, его жена, Стравинский и еще несколько

¹ Пир; здесь — банкет (англ.).

² Сущность Германии (англ.).

³ Здесь — легкий ужин (англ.).

человек провели вечер у нас в гостях, я сказал ему на прощанье: «Dear Mr. Rubinstein ¹, я почел за честь видеть вас у себя». Он громко рассмеялся. «You did? Now that will be one of my fun-stories!» ²

Работа над главой о четырех лекциях заняла почти весь сентябрь — месяц взятия Сорренто, Капри, Искьи, изгнания немцев из Сардинии и их отступления в России к Днепру, месяц подготовки к Московской конференции. Все мы размышляли о будущем Германии, которое Россия и Запад представляли себе явно по-разному. Однако привычка во что бы то ни стало отрешаться от натиска событий в утренние часы, уделяя таковые только одной заботе, давала мне возможность сосредоточиться. «С подъемом пишу VIII главу. Снова хочется работать над этим странным и крайне личным романом... Лекции Кречмара нужно выполнить так, чтобы они ни в коем случае не нарушали композиции... Усердно писал главу (Бетховен). Под вечер снова за своим романом (тяжко)...» Литературным событием тех дней было публичное чтение Бруно Франка, вызвавшее большое внимание в немецкой колонии и давшее мне пищу для раздумий. «Талантлив и красив, как всегда, к тому же отлично читал. Но вот что любопытно: он пользуется гуманистическим повествовательным стилем Цейтблома вполне серьезно, как своим собственным. А я, если говорить о стиле, признаю, собственно, только пародию. В этом я близок Джойсу...» Меня по-прежнему занимают мемуары Гектора Берлиоза. «Его насмешки над Палестриной. Его презрение к итальянской музыкальности, впрочем к французской тоже. Итальянцам не хватает вкуса к инструментальной музыке (Верди). Усматривает у них также отсутствие вкуса к гармонии. Всего-навсего «sing-birds» ³. А сам своим безапелляционно-наивным хвастовством поразительно напоминает Бенвенуто Челлини».

Перегруженная глава о лекциях была вчерне закончена в двадцатых числах сентября, когда стояла ужасная жара, и я приступил к девятой, где продолжается музыкальное образование Адриана и где особенно радостным было для меня его описание увертюры «Леонора» № 3. Вспоминается вечер в обществе Леонгарда Франка, который трудился тогда над своей «Матильдой», трогательным романом о женщине, и читал нам отрывки из этой работы. К моему удивлению, он признался за ужином, что очень взволнован всем тем, что ему довелось услышать из «Доктора Фаустуса». Он убежден, сказал он, что ни одну мою книгу не будет любить больше, чем эту. Она всколыхнула всю его душу. Я прекрасно понимал, в чем тут дело. Социалист по своим политическим взглядам и сторонник России, он вместе с тем проникся новым отношением к Германии и к незыблемости ее единства, неким своеобразным и, ввиду упорства, с каким покамест еще сражались гитлеровские войска, преждевременным патриотизмом, постепенно охватывавшим тогда немецкую эмиграцию и вскоре получившим весьма поэтическое выражение в «Немецкой новелле» Франка. Его эмоциональный интерес к «Фаустусу» был мне приятен, но одновременно встревожил меня и был воспринят как предостережение от опасности: не помочь бы своим романом созданию нового немецкого мифа, польстив немцам их «демонизмом». Похвала коллеги послужила мне призывом к интеллектуальной осторожности, к сколь можно более полному растворению очень немецкой по колориту тематики, тематики кризиса, в общих для всей эпохи и для всей Европы проблемах. И все же я не удержался и вставил слово «немецкий» в подзаголовок! В период, о котором я повествую, этот подзаголовок не принял еще окончательной формы и звучал довольно несуразно. «Странная жизнь Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». Год спустя вялый эпитет «странная» был заменен словами «немецкого композитора».

¹ Дорогой мистер Рубинштейн (англ.).

² В самом деле? Теперь это станет одним из моих анекдотов (англ.).

³ Птицы певчие (англ.).

В злободневных делах, отрывавших меня от исполнения главной моей обязанности, никогда не было недостатка: то очередная радиопередача для Германии, то лекция для еврейской женской организации «Хадасса», то речь на собрании общества «Writers in Exile»¹, состоявшемся в начале октября в Education

Building вествудского campus'a² и привлечшем многолюдную аудиторию. Председательствовала англичанка. Выступали Фейхтвангер, француз по фамилии Перигор, грек Минотис, профессор Арльт и я. Мне снова пришлось убедиться, что для человека моего склада во всякой публичности, во всяком выходе на люди есть что-то фантастическое, причудливое и шутовское, так что этот элемент в позднейшем поэтическом показе отнюдь не присочинен, а взят из подлинных ощущений. Супруга грека Минотиса лежала дома с воспалением брюшины. Муж ее был очень бледен и носил траур, словно она уже умерла. (Не знаю, умерла ли она вообще.) Таково было главное впечатление, вынесенное мною из этого собрания.

Но одну из самых решающих пауз в истории становления «Фаустуса» вызвала изобиловавшая промежуточными остановками поездка на восток и в Канаду, поездка, которую я давно уже обязался совершить и которая, начавшись 9 октября, приостановила мою работу на целых два месяца. Я не разлучался со своей пока еще тонкой рукописью, она сопровождала меня в том же портфеле, где хранились материалы лекций, и этот портфель я не доверял никаким «porter'am»³. Уже в Чикаго, проездом, я получил через моего зятя, физика Петера Прингсхайма, знаменательный подарок от одного из его университетских коллег. Это был ни больше, ни меньше, как прибор для получения тех самых «осмотических порослей», какие, любомудрствуя, разводит отец Леверкюна в начале романа. Неделю за неделей я возил с собой этот примечательный дар — в Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и Монреаль, и когда однажды вечером, в нашей нью-йоркской гостинице, после званого обеда у Вуазена, я прочитал первые главы «Фаустуса» небольшой группе близких людей, состоявшей из милой Анетты Кольб, Мартина Гумперта, Фрица Ландсгофа и нашей Эрики, мы с шутивным страхом отважились на этот псевдобиологический эксперимент и действительно увидели, как в слизистой влаге всходят цветные ростки, меланхоличность которых столь глубокомысленно воспринималась Ионатаном Леверкюном и вызывала у Адриана смех.

В Вашингтоне мы жили, как всегда, у наших старейших американских друзей и доброжелателей, Юджина и Агнесы Мейер, в их прекрасном доме на Кресент-Плейс, представлявшем собой центр общественной жизни города. Там нас и застало известие о переходе Италии на сторону союзников, о том, что она объявила войну Германии. Опять, после вступительного слова Мак-Лиша, я выступал в Library of Congress, а два дня спустя — в нью-йоркском Хантер-колледже, где был рад снова увидеться с Гаэтано Сальвемини, который представил меня публике в самых лестных выражениях. Зал был битком набит. Сотням желающих не досталось билетов, и безмолвное внимание тех, кто слушал мою почти полуторачасовую лекцию, меня, как всегда, несколько подавляло. Спрашиваешь себя: «Что гонит сюда этих людей? Разве я Карузо? Чего они ожидают? И оправдываются ли хоть сколько-нибудь их ожидания?» По-видимому, оправдываются. Но, конечно, сплошь да рядом случаются невероятнейшие промахи и недоразумения, ибо, для того чтобы поправить свои дела, агенты подчас продают тебя в таких местах, где тебе нечего делать и где ты играешь самую нелепую роль. Так было в Манчестере, небольшом промышленном городе, когда там устроили что-то вроде провинциальной сходки, впрочем с благой целью — собрать деньги для помощи нуждающимся в разоренных войною странах. Все это происходило при открытых дверях, люди непрестанно входили и выходили, гремел духовой оркестр, зажигатель-

¹ Писатели в изгнании (англ.).

² Учебном павильоне Вествудского стадиона (англ.).

³ Носильщикам (англ.).

ные речи сдабривались плоскими шутками, и завершить эту пеструю программу должен был мой доклад, совершенно здесь неуместный. Я наспех сократил его так, чтобы его можно было прочесть за полчаса, а затем, в процессе чтения, — сократил до двадцати минут, но и в таком виде он оказался слишком длинным, а главное, каждое его слово было некстати. Во время моей речи люди толпой валили из зала, «to catch their buses and trains»¹. В заключение chairman² заверил меня, что все было очень забавно, и я с ним согласился. Однако устроительница сборища, маленькая, строгая матрона, все время озабоченно на меня поглядывавшая, держалась иного мнения и так расстроилась, что нам пришлось ее всячески уверять, будто мы очень довольны своим участием в этом мероприятии. Но она все-таки позвонила нам в гостиницу, чтобы спросить, не может ли она поднять наше настроение бутылкой молока.

Побывав в Монреале (Канада), мы возвратились в Нью-Йорк, где меня ждали разнообразных дел. В студии Би-би-си, в этот раз, следовательно, на месте, нужно было выступить в немецкой радиопередаче, в Columbia University³ — прочесть lecture⁴, а кроме того, надо было подготовить речь по случаю семидесятилетия Альвина Джонсона. Умер Макс Рейнгардт. Из-за сильной простуды я не мог участвовать в нью-йоркской панихиде — тем более что в немецких эмигрантских кругах, при поддержке американцев германского происхождения, в частности Нибура, возникло тогда движение под названием «Free Germany»⁵, притязавшее на мое — номинально даже руководящее — участие в нем. Речь шла о зарубежной подготовке демократического управления Германией после неминуемого краха гитлеризма. В инициативную группу входили богословы, писатели, политические деятели социалистического и католического толка. Меня усиленно просили возглавить ее. «Idealists»⁶, — писал тогда Феликс Лангер в своей книге «Stepping stones to peace», — dream of Thomas Mann as the president of the second German Republic, a post which he himself would probably most decidedly refuse»⁷. Он не ошибся. Я был очень далек от намерения вернуться в чуждую мне теперь Германию, послевоенное положение которой я представлял себе весьма приблизительно, чтобы, вопреки своей природе и своему призванию, играть там какую-то политическую роль. Однако я был согласен с застрельщиками этого движения, что подобной корпорации, претендующей на участие в разговоре о будущем Германии, необходимо признание со стороны американского правительства, обеспечивающее ей такую же поддержку, какой пользовалась группа Паулюса в России или чешское эмигрантское правительство в Англии, и я заранее выразил свое сомнение в том, что государственный департамент пойдет навстречу какой-либо организации, хотя бы отдаленно напоминающей немецкое Government in exile⁸. Тем не менее я добровольно заявил о своей готовности поехать в Вашингтон, чтобы выяснить именно этот существенный вопрос. Так я и сделал, и беседа с помощником государственного секретаря Берлем подтвердила мой неблагоприятный прогноз. Со смешанным чувством — ибо при всем моем уважении к усилиям моих земляков этот результат был лично для меня облегчением — я сообщил им при следующей встрече о неудаче моей поездки.

В театре мы смотрели Поля Робсона в роли Отелло — очень хорошо и убедительно в начале, в объяснении перед сенатом, слабее — в дальнейшем, когда «хаос

¹Чтобы поспеть на поезд или автобус (англ.).

²Председатель (англ.).

³Колумбийском университете (англ.).

⁴Лекцию (англ.).

⁵Свободная Германия (англ.).

⁶Идеалисты (англ.).

⁷«Путь к миру», — мечтают о том, чтобы Томас Манн был президентом второй Германской республики, — пост, от которого сам он, вероятно, самым решительным образом отказался бы (англ.).

⁸Эмигрантское правительство (англ.).

возвращается». Его Дездемона вообще никуда не годилась, Яго был молод, умен, но лишен каких бы то ни было задатков для аллегорически-смешного воплощения абсолютного зла. Смотрели мы и современные пьесы в обществе нашей приятельницы Каролины Ньютон. Я снова отметил совершенную естественность американского театра. Тут нельзя говорить о «натурализме» как о стиле. Напротив, речь идет о полном отсутствии стилизации, об упоении подлинностью, скорее даже о безудержности, чем об искусстве. На этом фоне любой европейский актер, даже и второразрядный, вызывает интерес, выпадая из ансамбля этаким чужеродным телом. Нельзя не упомянуть и о великолепном «утреннике» (во второй половине дня) бушевского квартета в Таун Холле, где был идеально сыгран опус 132 Бетховена, превосходное произведение, которое в годы «Фаустуса» мне как нарочно довелось слушать несколько раз, наверно раз пять.

В начале декабря мы отправились на Средний Запад, сперва в Цинциннати, где я, во исполнение своего обязательства, должен был выступить в тамошнем университете, затем, терпя всякие неудобства военного времени, в Сент Луис и Канзас-Сити, где в доме ректора Деккера к нам нагрянул наш старший сын Клаус, ставший американским солдатом и собиравшийся отбыть «overseas»¹, то есть на европейский театр военных действий, опередив своего брата Голо, который находился еще в стадии «basic training»². Эрика была с нами, она тоже решила возвратиться в Европу, чтобы возобновить свою деятельность военного корреспондента. В последний раз повидались мы с этими любимыми детьми перед разлукой на длительный, как можно было предположить, срок.

И вот наконец, после множества приключений, хлопот и дел, мы поехали напрямик домой. Все это время, где бы я ни был, я, можно сказать, ни на минуту не переставал думать о романе. Мартин Гумперт, врач, снабдил меня медицинскими трудами о сифилисе центральной нервной системы, которые я просматривал в дороге и которые снова напоминали мне о возрасте моего замысла, такого давнего, так долго дожидавшегося своего часа, «исполнения срока». Мне вспомнилось, что уже в 1905 году, то есть через четыре года после той первой заметки в записной книжке, я спрашивал такие книги в Мюнхене, у книготорговца Шюлера на Максимилианштрассе, чем явно встревожил этого доброго человека. По его испуганно вскинувшимся бровям было видно, что он заподозрил у меня слишком личный интерес к подобной литературе.

Да и вообще весь круг моего чтения в поездах и гостиничных номерах определялся косвенной или непосредственной «пригодностью». Ничто другое меня и не трогало, не захватывало, за исключением, пожалуй, — если это можно назвать исключением, — газетных отчетов о текущих событиях, занимавших Цейтблома так же, как и меня: например, о московской встрече Хэлла, Идена и Молотова и ответных, вынужденных, стало быть, военно-политических совещаниях у маршала Кейтеля. Я возил с собой томик шванков XVI века — ведь повесть моя одним боком всегда уходила в эту эпоху, так что в иных местах требовался соответствующий колорит в языке, и в свободные часы я занимался в дороге выписыванием древненемецких слов и речений. Читал я также драму Марло о Фаусте и одну немецкую книгу о деятельности Рименшнейдера во время Крестьянской войны. Тому, кто заинтересован в значительности собственного повествования, полезно находиться в контакте с высокой эпикой, как бы набираясь у нее сил. Поэтому я читал Иеремию Готгельфа, «Черным пауком» которого восхищаюсь, пожалуй, больше, чем каким бы то ни было другим произведением мировой литературы, читал его «Ули-работника», столь часто приближающегося к гомеровской манере, и сравнительно бледный эпилог этой книги — «Ули-арендатора». Музыка, разумеется, тоже нельзя было выпускать из виду. И воспоминания Берлиоза, и руко-

¹ За океан (англ.).

² Военной подготовки (англ.).

пись Адорно о Шенберге пребывали со мной. Язвительная почтительность Адорно, трагически умная беспощадность его критики — это как раз и было мне нужно; ибо отсюда мог быть извлечен и заимствован при изображении кризиса культуры вообще и музыки в частности главный мотив моего романа: близость бесплодия, органическая, предрасполагающая к сделке с дьяволом обреченность. Кроме того, что чтение давало пищу музыкальному конструктивизму, который я всегда вынашивал в себе как идеал формы и для которого на сей раз наличествовал особый эстетический стимул. Я чувствовал, что моя книга и сама станет тем, о чем она трактует, а именно — конструктивной музыкой.

С некоторым удивлением, но и не без растроганности, перечитываю я сейчас запись в дневнике, сделанную в поезде между Денвером и Лос-Анжелосом, в вагонной тряске: «Хорошо бы, чтоб этой зимой роман прояснился и оформился! Главу о лекциях надо сразу же очистить от ошибок. Тяжкий труд в искусстве, как битва, как кораблекрушение, как смертельный риск, приближает тебя к Богу, внушая тебе смиренное упование на благословение, помощь, милость, и вызывая у тебя религиозный трепет».

VII

Возвращение домой само по себе чудесное событие, а возвращение на это взморье — и подавно. Я был в восторге от яркого света и какого-то особенного аромата, от синего неба, солнца, от свежего дыхания океана, от нарядности и чистоты этого юга. Проехать путь от вокзала до дома (продолжительностью около часа), тот самый, еду-чи которым в противоположном направлении ты готовился к великому множеству встреч и дел, — в этом уже есть что-то неправдоподобное. Тебе «не верится». Любезные соседи, присматривавшие за нашим добром и следившие за почтой, принесли нам огромный мешок корреспонденции, а в придачу — сливки, пирожные и цветы. Нейманы вернули нам пуделя, который временно квартировал у них и теперь, к своему смущению, запутался в хозяевах. Чтобы поскорее прийти в себя, нужно устать от просмотра и уничтожения накопившейся прессы, от разбора привезенных и найденных дома писем. Одно из них было от Берта Брехта, строгое, полное упреков за мое неверие в немецкую демократию. Как же я его проявил, это неверие? И справедлив ли такой упрек? Видимо, мне казалось, что нужно еще проделать ужасающую по объему работу, прежде чем вообще можно будет говорить о немецкой демократии. В самом деле, что дни Гитлера сочтены, знали все, кроме него одного, и хотя вся Европа, за исключением Италии, находилась еще под его властью, уже можно было строить планы, связанные с его концом. Но какие? Вскоре по приезде мне предстояло ответить на письмо агентства Оверсис Пресс, требовавшего для «Лондон Ивнинг Стандард» статьи по вопросу «What to do with Germany»¹, и тогда я думал так: «Тяжкая, ответственная и притом праздная задача. Вполне вероятно, что непредвиденный ход событий избавит тебя от этой заботы. С какой революционизированной, пролетаризованной, нагой и босой, потрясенной, изверившейся массой придется иметь дело после этой войны! Не исключено провозглашение национального большевизма и присоединение к России. Для умеренной либерально-демократической республики эта страна потеряна...»

Я так и не написал этой статьи. Очередной моей задачей, выполненной с охотой и с благодарностью умершему, была подготовка к выступлению на вечере, посвященном памяти Макса Рейнгардта, состоявшемся 15 декабря в Wilshire Ebell Theatre². Тогда, кажется, впервые оказались под одной крышей обе спутницы его жизни, Елена Тимиг и Эльза Геймс. Играли Корнгольд и Сигетти. Были показаны куски из фильма «Сон в

¹ «Что делать с Германией» (англ.).

² Театре Эбел в Вильшире (англ.).

летнюю ночь». Выступали товарищи по искусству и ученики, в том числе один американский мальчуган лет одиннадцати или двенадцати из голливудской театральной студии Рейнгардта, комичным образом продемонстрировавший обычную неуклюжесть и «straightforwardness»¹ своих соотечественников в публичных речах. «I don't know how to speak about Max in such a solemn way. We simply were good friends...»² Остаток вечера мы провели с Франками в «Браун Дерби» за разговорами, которым ни личные дела, ни общая атмосфера отнюдь не придавали веселого направления. Состояние Франца Верфеля внушало большую тревогу. Да и перспективы войны в Европе снова казались темными и сомнительными. Только что стало известно о злосчастном происшествии в Бари. Уинстон Черчилль лежал в Египте со вторым воспалением легких.

Я опять начал переделывать VIII главу, изменил ее конец, в один прекрасный день пришел к заключению, что теперь она приобрела надлежащий вид, стал снова писать уже начатую IX, а затем все-таки еще и еще раз принимался править предыдущую, восьмую. С этим фатальным разделом моя эстетическая совесть никак не могла помириться. Много времени спустя я опять переписал заключительный разговор. В конце года девятая была доведена до середины. «Брался за IX и все зачеркнул. Сомнения в композиции. Изменить. Вспомнил тематические связи... Жестокая бомбардировка Берлина... Шенберговское учение о гармонии... Начал писать немецкую передачу... Получил по почте неожиданный приказ сдать экзамен на подданство... Читал «Lessons in Citizenship»³... 31 декабря: «Дружно желаем, чтобы в наступающем сумасшедшем году мы не потеряли своих сыновей. В первый же день нового года нужно снова засесть за этот, может быть, и вообще неосуществимый роман. Пусть новый год сделает из него что-нибудь путное!»

В самые первые дни 1944 года пришло достопамятное письмо от Верфеля, продиктованное им во время болезни, а может быть, и в предчувствии смерти, — письмо о «Будденброках», которых он три дня перечитывал и которых торжественно назвал «бессмертным шедевром». Хотя это юношеское произведение давно уже, почти полвека, жило самостоятельной, обособленной от меня жизнью, так что я, пожалуй, уже и не считал его своим, меня глубоко тронуло послание Верфеля, полученное при таких особенных обстоятельствах. Ведь мое нынешнее литературное начинание было чем-то вроде позднейшего возвращения в родную старонемецкую и музыкальную сферу этого романа-первенца, и то, что он именно теперь покорило такого художника до мозга костей, как Верфель, не могло меня не заинтересовать и не взволновать. Однако мои рассуждения в связи с этим письмом были далеки от кичливости. «Я размышляю, — писал я, — не останется ли из всех моих книг единственно эта. Может быть, написав ее, я уже выполнил свою «миссию», и мне просто суждено было более или менее достойно и интересно заполнить дальнейшую долгую жизнь. Не хочу неблагодарно хулить путь, пройденный после моего юношеского опыта через «Волшебную гору», «Иосифа», «Лотту». Но тут могло случиться то же самое, что с «Волшебным стрелком», после которого появилась еще всякая другая, даже лучшая и более высокая музыка и который все-таки один только остался жить в народе. Впрочем, «Оберон» и «Эврианта» покамест не сходят со сцены»... Спустя несколько дней я побывал у Верфеля; вид у него был очень скверный, но он тотчас же стал устно варьировать восторженные обороты своего письма. Я стоял у изножья его кровати; рядом с нею висел кислородный прибор, и больной, впериw в меня глаза, говорил, что ему почти не верится, будто можно вот так, воочию, видеть перед собой автора «Будденброков»...

Как типичен был для него этот детский энтузиазм! Я всегда очень любил Франца Верфеля, восхищался им как лириком, часто вдохновеннейшим, и высоко ценил

¹ Прямолинейность (англ.).

² «Я не знаю, как торжественно говорить о Максе. Мы просто были добрыми друзьями» (англ.).

³ Положения о гражданстве (англ.).

его неизменно интересную прозу, хотя ему порой не хватало художественной взыскательности. Правда, игра с чудом в «Бернадетте», в интеллектуальном плане не вполне чистая, вызвала у меня сомнения, но я никогда не злился на его наивный и высоко-талантливый артистизм за мистические тенденции, получавшие у него все большее и большее развитие, за кокетничанье с Римом, за благочестивую слабость к ватиканской церковности даже в те злосчастные моменты, когда все это приобретало агрессивно-полюемическую остроту. По сути он был оперным героем, да и походил на оперного певца (каковым он некогда хотел стать), но в то же время и на католического священника. Он стойко преодолел соблазн крещения, находя, что в эпоху, когда евреи страдают, ему не к лицу отречься от своего иудейства. Когда он «с грехом пополам оправился» от второго сердечного приступа, чтобы в почти неизменном одиночестве в Санта-Барбаре закончить свой утопический роман, это странное и в какой-то мере посмертное произведение, мне довелось познакомить его с отдельными частями возникающего «Фаустуса» и порадоваться его живому участию. Поужинав с Альмой Малер у Романова, мы направились к нему домой, где он уже успел разделить трапезу со своим частным врачом. Он слушал мои первые три главы, лежа на кушетке, и я никогда не забуду, как поразил, или, лучше сказать, какой вещью тревогой наполнил его Адрианов смех, в котором он, видимо, сразу же почувствовал что-то неладное, что-то религиозно-демоническое и о котором то и дело спрашивал. «Этот смех! — говорил он. — Что бы он значил? О, я догадываюсь... Увидим». С пророческой чуткостью он уловил здесь один из тех малых мотивов книги, с которыми мне всегда работалось особенно радостно, таких, например, как эротический мотив синих и черных глаз, мотив материнства, как параллелизм пейзажей или — хотя он уже становится значительным и существенным — всепроникающий и многоветвленный мотив «холода», родственной мотиву смеха.

Уже в этом последнем незримо наличествует скрытый герой моей книги — чорт, как наличествует он и в «опытах» папаши Леверкюна, так что задача моя заключалась в том, чтобы постепенно придать его образу, смутно маячащему перед читателем с самого начала, какие-то более определенные очертания, какую-то более реальную форму, что и происходит в главах, посвященных богословскому факультету: сперва благодаря карикатуре на Лютера — профессору Кумпфу, который заодно комически открывает старонемецкую языковую сферу романа, — позднее, собственно, только цитируют Кумпфа, — а затем благодаря подозрительной лекции доцента Шлепфуса. К этому разделу книги я продвинулся в середине февраля и, хотя статья к юбилею дирижерской деятельности Бруно Вальтера была не единственным перерывом в моей основной работе, закончил в начале марта новеллу о ведьме и XIII главу. Мои комментарии: «Мало радости от романа, начинающего, кажется, расплываться. Несомненно, это оригинальная затея, но боюсь, что у меня не хватит сил. Ошибочная тенденция — придать ему формы и размеры «Волшебной горы» — объясняется главным образом усталостью и косностью...» Опасение, что книга разбухнет, постоянно звучит во всех сопутствующих ей заметках и самооценках. Англичанин Коннели однажды довольно остроумно сказал, что нельзя быть ни слишком «тщеславным», чтобы сделать какое-либо дело плохо, ни слишком «трусливым», чтобы в этом признаться. Так вот, у меня хватает мужества признаться, что меня ужасала опасность погубить великое дело и что я часто приходил в отчаяние от впечатления, что я его действительно погубил. В конечном счете именно это «тщеславие» преодолело усталость и косность и сделало из романа то цельное и строгое сочинение, каковым он является. При встречах с Адорно в гостях я старался, беседуя с ним, тверже овладеть музыкальной проблематикой романа, но уже всегда с учетом идеи «прорыва», весьма нуждавшейся в прояснении. Мой участливый советчик принес мне очень «подходящую» книгу об Альбане Берге, который родился в том же (1885) году, что и Адриан, и с которым я, кстати сказать,

некогда состоял в переписке. Об этом я совсем забыл, потому, наверно, что в то время плохо представлял себе, с кем имел дело. Альма Малер напомнила мне, что после выхода «Историй Иакова» Берг прислал мне очень теплое письмо и что я с благодарностью ответил ему. Я бы дорого заплатил за то, чтобы располагать сейчас этим письмом. Оно, как и многое другое, пропало в скитаниях.

В работу над XIV главой, главой студенческих разговоров, для которых я, между прочим, использовал уцелевший среди старых бумаг документ, юношескую газету вандерфогельского или подобного направления, вторглось знаменательное литературное событие, занимавшее меня много дней кряду и в самом личном аспекте. Из Швейцарии пришли оба тома «Игры в бисер» Германа Гессе. После многолетней работы мой друг в далекой Монтаньоле закончил томительно-прекрасный труд своей старости, известный мне дотоле лишь по большому вступлению, опубликованному в «Нейе рундшау». Я не раз говорил, что эта проза близка мне, «как плоти часть моей». Увидев теперь все полотно целиком, я почти ужаснулся его сходству с тем, что так поглощало меня самого. Та же идея вымышленной биографии — с присущими этой форме элементами пародии. Та же связь с музыкой. И здесь критика культуры и эпохи, хотя и с преобладанием мечтательного культур-философского утопизма, дающего критический выход страданию и констатирующего всю трагичность нашего положения. Сходства оставалось достаточно, просто обескураживающе много, и, записав в дневнике: «Всегда неприятно, когда тебе напоминают, что ты не один на свете», — я без прикрас передал эту сторону моих ощущений. Моя запись — не что иное, как измененная формулировка вопроса из гетевского «Дивана»: «Что за жизнь, коль есть другие?» — кстати, весьма созвучная некоторым сентенциям Саула Фительберга о нежелании художников что-либо знать друг о друге, сентенциям, каковых я, однако, к себе отнюдь не относил. Признаю за собой откровенное презрение к посредственности, понятия не имеющей о мастерстве, а следовательно, ведущей легкую, глупую, жизнь, и утверждаю, что пишут слишком многие. Но если речь идет о людях сходных запросов, то я вправе назвать себя добрым товарищем, который не склонен трусливо закрывать глаза на все хорошее и великое в своем соседстве и который слишком любит восхищение, слишком верит в него, чтобы самому восхищаться только умершими. Пожалуй, у меня еще не бывало лучшего повода для теплых, почтительно-товарищеских чувств, для восхищения зрелым мастерством, сумевшим, разумеется, не без глубокого, подспудно-тяжкого напряжения, но с юмором и изяществом, выдержать это позднее наитие в рамках осуществимой игры. Желание сравнить, сопоставить свою работу с признанной тобою чужой отлично уживается с такими чувствами. «Вечером — за романом Гессе. «Магистр Томас с берегов Траве» — «Иозеф Кнехт». Прекрасно видно их различие в подходе к *игре в бисер*... В целом связь потрясающая. У меня, правда, все острее, резче, трепетнее, драматичнее (потому что диалектичнее), современнее и непосредственнее. У него — мягче, мечтательнее, запутаннее, романтичнее и замысловатее (в высоком смысле). Все, что связано с музыкой, очень добропорядочно — антикварно. После Перселла нет уже ничего благородного. Страдания и радости любви совершенно исключены из этого «романа», да и никак не вяжутся с ним. Конец, смерть Кнехта, слегка гомоэротичен. Очень широкий интеллектуальный горизонт, большое знание культуры. Вдобавок шутовство в стиле биографического исследования; комизм собственных имен...» Как раз об этой, юмористической стороне его книги я ему написал, и ему понравилось, что я ее подчеркнул.

Наша младшая дочь, жена Антонио Боргезе, вторично стала матерью, и мы провели две недели, закончившиеся уже в апреле, в Чикаго. В эти мгlistые, снежные дни я пытался в нашей гостинице у озера продвинуть очередную главу и попутно готовил новую немецкую передачу — в тот раз о воздушных бомбардировках и о вопросе ответственности, ими поставленном. То было вскоре после выхода немецкого издания

«Иосифа-кормильца», и Берман прислал мне целую кучу швейцарских рецензий на эту книгу, положительных и отрицательных. Столь интенсивное потребление публичных отзывов об уже пройденном тобою труде способно смутить тебя и разгорячить, но крайне бесплодно. Испытывая, разумеется, благодарность за всякое доброе и умное слово, что сплошь да рядом доводится прочесть о произведении, все достоинства и недостатки которого слишком хорошо известны тебе самому, ты стыдишься той жадности, с какой предаешься этому нездоровому наслаждению, и только сильнее становится потом потребность обрести жизнь в новых вещах. Я продолжал наблюдать мотив сватовства у Шекспира, прочел «Меру за меру», а затем «Saint-Antoine»¹ Флобера, поражаясь сочетанию эрудиции и нигилизма в этом великолепном произведении, являющемся по сути только фантастическим каталогом всех человеческих глупостей. «Исчерпывающе показано безумие религиозного мира — а под конец лик Христа? Сомнительно». Беседа Ивана Карамазова с чортом тоже входила в круг моего тогдашнего чтения. Я читал эту сцену так же отчужденно-внимательно, как перечитывал «Salammbô»², прежде чем приступил к «Иосифу».

Возвратясь домой, мы узнали, что и Бруно Франк перенес за это время тяжелый сердечный приступ и пока еще не встал на ноги. «Heart attack»³, будь то коронарный тромбоз или *angina pectoris*⁴, — наиболее распространенная в Америке болезнь и причина смерти, но особенно подвержены ей — да это и не удивительно — были, по видимому, эмигранты. От сердечной астмы страдали одновременно также Шенберг и Деблин, которого я навестил, когда он лежал в постели в саду, а Мартин Гумперт едва не пал жертвой опасного приступа. То один, то другой вынужден был перестать курить, чтобы остаться в живых. «Мои дела, пожалуй, еще хороши», — записано в дневнике. Между тем я и сам пребывал в довольно жалком состоянии. Под губительным действием ледяных чикагских ветров у меня начался катар, проявившийся в насморке, бронхите, воспалении лобных пазух, общем недомогании и потребовавшей вмешательства врача. На пасху, не выходя из спальни, я принимал лекарства от кашля и дезинфицировал носоглотку, зато сразу продвинул роман, закончил в середине апреля XIV главу и тотчас же принялся за следующую, каковую, сопровождая работу над ней чтением писем Лютера и гриммельсгаузенского «Симплициссимуса», сделал за десять дней. В ней даны переписка Адриана и Кречмара, причем в письме Адриана есть скрытое подражание вступлению к третьему действию «Мейстерзингеров», доставившее мне большое удовольствие.

Как раз тогда русские взяли Одессу, и «противник не сумел помешать нашим операциям по перегруппировке войск». Поэтому он устремился к Севастополю, черед которого теперь пришел. Почти ежедневно сообщали о массированных налетах на «Европейскую крепость», каковая была, в основном, сооружением немецкой пропаганды. От взрывов на побережье, где ожидалось вторжение, в Англии сотрясались дома. Генерал Перкинс заявил, что предстоящий десант свяжет немецкие войска на западе и облегчит русским их наступление, так что они первыми дойдут до Берлина. Впрочем, техническое осуществление высадки представить себе было трудно, и, по предположительным подсчетам, связанные с нею потери в живой силе исчислялись цифрой в полмиллиона.

Немцы вторглись в Венгрию, словно стоял 1939 год, и усугубили террор в Дании. При этом налицо были явные признаки их неверия в победу, и речи геббельсов и герингов по случаю дня рождения Гитлера дребезжали как надтреснутая тарелка. Газета «Дас Шварце кор», всегда вызывавшая у меня особое отвращение, ибо она обладала извест-

¹ «[Искушение] святого Антония» (франц.).

² «Саламбо» (франц.).

³ Сердечный приступ (англ.).

⁴ Грудная жаба (лат.).

ной литературной хваткой и бойкостью, напечатала издевательскую статью о возможной реставрации Веймарской республики, в результате чего возвратились бы Брюнинг, Гжешинский, Эйнштейн, Вейс и... я. Я поклялся себе, что меня там не увидят.

Эрика прочитала нам несколько отрывков из своих милых мемуаров, озаглавленных «Alien Homeland»¹, и восстановила в памяти множество подробностей 1933 года. Она полемизировала в «Ауфбау» и, по-моему, справедливо, с эмигрантским патриотизмом участников «Democratic Germany»², снова уже лелеявших мысль о «свободной» и великой Германии, протестовавших против территориальных уступок, более того, против вторичного отделения Австрии, и — это и есть причина моего отказа от сотрудничества с ними — вольно или невольно смыкавшихся с тем вездесущим и злоеющим прогерманизмом, который по сути следовало бы назвать профашизмом. Очень показательно в этом отношении было письмо, полученное мною тогда от одного профессора литературы из штата Огайо: он осыпал меня упреками за то, что я *виновен в войне*. «Повредить сердцу, — записал я, — способна и несусветная глупость».

Общение со Стравинским и его женой, настоящей *belle Russe*³, то есть женщиной той специфически русской красоты, где человеческая приятность доходит до совершенства, приобрело желанную живость, и мне запомнилась одна беседа с ним у нас за ужином, когда он, заговорив об Андре Жиде и сбиваясь с немецкого на английский или французский, высказался об «Исповеди» как о продукте различных культур — греческо-православной, латинско-католической и протестантской. По его мнению, в Толстом преобладало немецкое и протестантское начало... Не помню уже, кто обратил мое внимание на вольтеровского «Магомета», которого я впервые читал тогда в переводе Гете, — восхищаясь историческими масштабами типов и лиц в этом гениальном произведении. Кроме того, меня занимало курьезное сочинение, каким-то образом у меня оказавшееся — «Музыкальные письма одного доброго знакомого» (Лейпциг, 1852), — поучительно-комичная книга, документ бюргерского века чистой культуры, та самая каденция образованного филистера, о которой идет речь в книге Ницше. Тем не менее, несмотря на сногшибательную подчас наивность этой книжонки, из нее можно было почерпнуть кое-какие полезные сведения, например, о Мендельсоне...

Несмотря на то что бывало множество трудных часов, несмотря на «сознание, что пишешь не так», в работе над романом снова появилась теперь порывистость первого приступа. Не объяснялось ли это тем, что пришло «мое время года», май и июнь, пора моего рожденья, когда у меня обычно наступает прилив сил? XVI глава, письмо Адриана из Лейпцига, «монтирующее» приключение с Ницше в кельнском публичном доме, и XVII, разбор этого письма озабоченным адресатом, последовали быстро одна за другой. Выпутавшись из клубка мотивов, связывавшего меня в экспозиции книги, и выйдя на простор фабулы, я мог рассказать горестную историю любви к ядовитому мотыльку, запечатлеть шифр *heaees* и придать гротеску с врачами ту странную неопределенность, право на которую я давно уже обеспечил себе обилием прозрачных намеков. 6 июня, в день моего шестидесятидевятилетию, утром, когда я еще не успел заглянуть в газеты, мне позвонила из Вашингтона Агнеса Мейер, чтобы присовокупить к своим поздравлениям известие о том, что в Нормандии началось *вторжение во Францию*. Она располагала благоприятной информацией, исходившей непосредственно из военного министерства. Я был очень взволнован и, оглядываясь на передраги последних одиннадцати лет, не мог не усмотреть вещего знака, одной из «согласованностей» моей жизни в том, что столь вожделенное, казавшееся даже невероятным событие совпало именно с этим днем, с моим днем. Естественно, что

¹ Чужое отечество (англ.).

² Демократической Германии (англ.).

³ Русской красавицей (франц.).

мысль об этом и тревога о дальнейшем ходе десантных операций не покидала меня в тот богатый приятными сюрпризами день. Высадка была предметом всех разговоров с гостями. Телефон ни на минуту не умолкал. И конечно же, неспроста я и в этот день, когда меня то и дело отрывали от письменного стола, почти выполнил, работая над романом, свой обычный дневной урок. Вечером у нас были Франки и Верфели. «Тема беседы — мир моей книги». Далее: «В 11 часов слушали из Голливуда и Лондона подробные отчеты о вторжении».

VIII

Пятница, 23 июня 44-го года была, как я записал, «знаменательным днем для этих заметок, которые я веду вот уже одиннадцать лет». Мы поднялись очень рано и сразу же после завтрака поехали в Лос-Анжелос, в Federal Building ¹. К нашему приходу зал был уже заполнен, и чиновники раздавали всякие указания. Появился «judge» ² и, опустившись в стоявшее на возвышении кресло, произнес краткую речь, которая благодаря своей хорошей форме и приятному ходу мыслей тронула, несомненно, не меня одного. Все встали и коллективно принесли присягу, чтобы затем, в другом месте и поодиночке, подписать документы о подданстве. Так мы стали американскими «citizens» ³, и я с удовольствием думаю о том — но лучше выразить эту мысль коротко, — что стал американским гражданином еще при Рузвельте, в *его* Америке.

К лейпцигскому письму Адриана, этому *tour de force* и одному из труднейших мест моей книги, я еще не раз возвращался, работая над позднейшими разделами, но не был доволен и новой правкой. «Как ни стараешься — все не то. Неужели я засушу и испорчу такой материал?» Бывали моменты — и подчас довольно растянутые моменты — мучительной усталости. Возможно, что виною тому было плохое здоровье и слишком низкое кровяное давление — одно из наименее благоприятных следствий калифорнийского климата. Я потерял аппетит, страдал диспепсией, ослабел и сверхкритически относился ко всему, что делал. Врач прописал атропин, соляную кислоту, витаминные инъекции, единственная польза которых, как показывает мой опыт, — это сознание, что все-таки, что-то предпринимаете. Куда лучшее действие оказывали известия из Шербура, такие сообщения, как, например, о капитуляции немецкого генерала и немецкого адмирала после их героических радиোগрамм фюреру. Эти господа получили приглашение на завтрак и предоставили своим солдатам умирать, приказав им стоять насмерть. Бои шли уже за Кан, по сути уже за Париж. На восточном фронте со дня на день ждали падения Минска, и после взятия этого пункта русские развернули чудовищной быстроты наступление, во время которого самые неприступные крепости (Львов, Брест-Литовск) пали, как спелые плоды. Шенберг, да и другие мои знакомые были тогда твердо убеждены в существовании какого-то тайного сговора, какой-то сделки, и только так объясняли контраст между упорной обороной немцев в Италии и Франции и покорным их отступлением на востоке. Но неужели после всего, что произошло, можно было думать о соглашении между русскими и существовавшим в Германии режимом? Прежде я тоже считался с возможностью, что Германия увидит единственный для себя выход в том, чтобы броситься в объятия России. Однако теперь немцы едва ли уже были вольны это сделать и весьма распространенные подозрения такого рода казались мне фантастическими. Кстати сказать, в то время как «роботы» производили опустошения в Англии, внутри «рейха» Геббельс требовал мира с англосаксами и поносил Россию, оперируя старым, испытанным, но на этот раз не оправдывавшим его надежд жупелом большевизма.

¹ Федеральное управление (англ.).

² Судья (англ.).

³ Гражданами (англ.).

Мне тогда впервые попало в руки превосходное эссе Сент-Бева о Мольере, блестящий образец критического славословия, отмеченный печатью французской традиции и французской культуры. Здесь волнующе показано сомнительное положение этого поэта-актера в современном ему обществе, по-видимому весьма сходное с положением Шекспира. Людовик XIV посылал ему дичь от своего стола, а королевские офицеры не желали с ним знаться, и сам Буало сожалел о его «дурацкой страсти». При этом Сент-Бев относит Мольера к числу тех пяти или шести гениев мира, которые, выступая где-то посредине между примитивной и цивилизованной, гомеровской и александрийской эпохами, будучи еще наивны, но уже умны, побивают своей широтой, плодovitостью, легкостью даже самых великих людей и к которым он явно не причисляет, например, Гете. Впрочем, пожалуй, и сам Гете не относил себя к ним, иначе он всю свою жизнь не ставил бы так высоко над собой Шекспира. Но некоторые замечания французского критика о Гете удивительно режут немцу слух, хотя им и нельзя отказать в меткости. Он говорит о собранности, самообладании, хладнокровии Мольера, о его светлой и ясной пламенности; но эта вошедшая в привычку холодность в самых трогательных партиях не имеет, по словам Сент-Бева, ничего общего с умышленной и ледяной беспристрастностью, характерной для Гете, этого *Талейрана от искусства*. «Такой критической изошренности под сенью поэзии тогда еще не встречалось...» Критик — и вдруг противник «критической изошренности»? На поверку, перед нами, по-видимому, просто историк, являющийся противником новизны. Что же касается «Талейрана» в Гете, то Байрон тоже назвал его «старой лисой», и назвал так за «Избирательное сродство»... В одной из швейцарских газет я прочитал о французском поэте Сент-Джон-Персе и записал его отзыв о «Карле XII» Вольтера: «Необыкновенная, но не великая вещь». Примечательное разграничение!.. Якоб Буркгардт сказал о Вольтере: «Рационализм становится у него поэтичным, даже магическим»... Хотел бы я увидеть немецкого писателя, с пера которого сошла бы такая фраза! Швейцария — это страна, где на немецком языке выражают отрадно ненемецкие мысли. Потому-то я ее и люблю... Я стал успешно заниматься Кьеркегором, прежде чем — как это ни странно — решился прочитать его самого. Адорно предоставил в мое распоряжение свою весьма значительную работу о нем. Я изучал ее одновременно с блестящим эссе Брандеса. Из Кьеркегора я сделал такую выписку: «Юморист непременно сопоставляет понятие о Боге с чем-то другим и выводит отсюда некое противоречие, но сам не имеет никакого, проникнутого религиозной страстью (*stricte sic dictus*)¹ отношения к Богу; ради такой подтасовки он превращается сам в шутника и глубокомысленного пустомелю, но сам не имеет никакого отношения к Богу». Его стиль, во всяком случае по-немецки, совсем нехорош. Но до чего же ново и глубоко это определение юмора! Сколько великолепногo ума в этом наблюдении!.. Слушая по вечерам радио и граммофонные записи, я следил за музыкой с самым деловым вниманием. Волею обстоятельств концерты камерной музыки случались и у нас дома. У нас бывали голландский виолончелист Ванденбург, скрипачи Темянка и Поллак; иногда, с кем-либо из наших друзей, они играли гостям квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена (132!), Мендельсона, Брамса и Дворжака. Михаэль, наш младший сын, время от времени приезжавший к нам со своей семьей, вел однажды партию альты в подобном концерте. В тот раз Фридо впервые появился остриженный. «Рисовал для малыша», — многократно повторяется в дневнике. «Фридо в нервном возбуждении, долго был у меня».

Русские дошли до Варшавы, угрожали Мемелю. В Париже оккупационные власти с помощью коллаборационистов люто преследовали все более крепнущее *Resistance*². Просачивались страшные вести об усилении кровавого антисемитского

¹ Условно выражаясь (лат.).

² Сопrotивление (франц.).

террора в Европе; затем — сообщения о покушении генералов на Гитлера, о неудаче восстания, о массовом истреблении войсковых офицеров, о полной нацификации армии и о геббельсовской «тотальной войне» как способе всеобщей мобилизации... В то время мною было послано президенту Бенешу длинное письмо, объяснявшее, почему я отказался от чешского подданства и принял американское. Я получил самый любезный ответ. В романе на повестке дня был портрет Рюдигера Шильдкапа, художественно удавшаяся партия, смелость которой в человеческом плане — ибо речь шла безусловно о портрете, но о портрете стилизованном, так что его жизненность более или менее отлична от жизненности прототипа — вообще не доходила тогда до моего сознания. К тому же Европа, Германия и все, что там жило — или уже не жило, — были отрезаны слишком глубоким и широким рубежом, ушли далеко-далеко в прошлое, стали слишком нереальны, а вместе с ними, по его собственной воле, отдалился, потерялся и ушел в небытие тот друг, чей образ я здесь воскресил по видимости точными, на самом же деле весьма приблизительными штрихами. Мало того, я был слишком околдован идеей произведения, которое, будучи от начала до конца исповедью и самопожертвованием, не знает пощады и жалости и, притворившись замысловатым искусством, одновременно выходит за рамки искусства и является подлинной действительностью. Однако эта действительность опять-таки зависит от композиции, подчинена ей в известных случаях больше, чем правде, а потому условна и иллюзорна. В одной очень добротной немецкой рецензии на мою книгу (Пауль Рилла, в «Драматургии Блеттер») было позднее сказано так: «Со всяким может случиться то, что случилось с автором этих заметок, который, к веселому своему изумлению, нашел в романе портрет своего друга, одного милого писателя и переводчика, верный до малейшей черточки, разительно точный в каждой детали...» Ну, а «тот, кого это касалось», должен был быть и действительно был совершенно иного мнения о «верности» моей картины. Восхищаясь им, удостоверяю, что он показал себя куда менее обиженным, чем я мог ожидать.

В один из вечеров, когда я читал вслух, Леонгард Франк спросил меня, был ли у меня какой-нибудь прототип для самого Адриана. Я ответил отрицательно и прибавил, что в том-то и состояла трудность, чтобы выдумать фигуру музыканта, способную занять правдоподобное место среди реальных деятелей современного музыкального мира. Леверкюн — это, так сказать, собирательный образ, «герой нашего времени», человек, несущий в себе всю боль эпохи. Но я пошел дальше и признался Франку, что ни одного своего вымышленного героя, ни Томаса Будденброка, ни Ганса Касторпа, ни Ашенбаха, ни Иосифа, ни Гете из «Лотты в Веймаре» — исключая разве что Ганно Будденброка — я не любил так, как любил Адриана. Я говорил сушную правду. Я буквально разделял те чувства, которые питал к нему добрый Серенус, я был тревожно влюблен в него, начиная с поры его надменного ученичества, я был до одури покорен его «холодом», его далекостью от жизни, отсутствием у него «души», этой посреднической инстанции, примиряющей ум и инстинкт, его «бесчеловечностью», его «искусственным сердцем», его убежденностью в том, что он проклят. Любопытно, что при этом он почти лишен у меня внешнего вида, зримости, телесности. Моим близким всегда хотелось, чтобы я его описал, чтобы я, если уж от рассказчика остаются только доброе сердце да дрожащая рука, дал увидеть по крайней мере героя рассказа, моего героя, наделил его психологической индивидуальностью, наглядно его показал. Как это было легко! И как в то же время таинственно-непозволительно, невозможно в каком-то еще не изведенном дотоле отношении! Невозможно по-иному, чем, скажем, автопортрет Цейтблома. Тут нельзя было нарушать некий запрет или, вернее, тут надлежало соблюдать величайшую сдержанность во внешней конкретизации, которая грозила сразу же принизить и опошлить духовный план с его символичностью и многозначительностью. Да, только так: персонажами романа, коль скоро это определение

предполагает известную картинность, красочность, могли быть лишь сравнительно далекие от центра действующие лица книги, все эти Шильдкнапы, Швердтфегеры, Родде, Шлагингауфены и т. д. и т. д. — но отнюдь не ее протагонисты, один и другой, обязанные скрыть слишком большую тайну — тайну их тождества...

Те летние недели, когда я писал главы, предшествующие переселению Адриана в Мюнхен, принесли нам одну очень важную для меня встречу: к нам приехал Эрнст Крженек с женой, и мне представился случай поблагодарить его за «Music Here and Now», а также — пока мы гуляли вдвоем под могучими египетскими пальмами Ошен-авеню и затем беседовали у нас дома — узнать от него много поучительного о судьбах музыки за последние сорок лет, о ее теперешнем положении, об отношении к ее новым формам как со стороны публики, так и со стороны солистов и дирижеров различных типов. Эти личные впечатления дополнялись такими книгами, как «Music, a Science and Art»¹ Редфилда, «The Musical Scene»² Вирджила Томсона, «The Book of Modern Composers»³ Ивена и особенно — «The Unconscious Beethoven»⁴ Эрнеста Ньюмена. Очень внимательно читал я одну книгу, которая непосредственно к предмету не относилась, но благодаря умным рассуждениям автора помогла мне уяснить и ситуацию моего романа, и мою собственную позицию в его истории: речь идет о «James Joyce»⁵ Гарри Левина. Так как прямое обращение к словесности этого ирландца мне недоступно, при знакомстве с данным явлением приходится довольствоваться критическим посредничеством, и такие труды, как упомянутая книга Левина и большой комментарий Кэмпбелла к «Finnigan's Wake»⁶, открыли мне кое-какие неожиданные связи и — при всей несхожести литературных дарований — даже известное родство. Я заранее считал, что в сравнении с эксцентричным новаторством Джойса мой труд покажется бледным, традиционным. Спору нет, традиционное построение, хотя бы оно уже и носило несколько пародийный характер, способствует большей доходчивости, служит залогом известной популярности. Но это скорее вопрос манеры, а не суть дела: «As his subject-matter reveals the decomposition of the middle class, — пишет Левин, — Joyce's technique passes beyond the limits of realistic fiction. Neither the «Portrait of the artist», nor «Finnigan's Wake» is a novel, strictly speaking, and «Ulysses» is a *novel to end all novels*»⁷. Это можно с таким же правом сказать о «Волшебной горе», об «Иосифе» и «Докторе Фаустусе», и вопрос Т. С. Эллиота «whether the novel had not outlived its function since Flaubert and James, and whether «Ulysses» should be considered an epic»⁸ в точности совпадает с моим собственным вопросом — не случилось ли так, что в области романа теперь примечательны только те произведения, которые по сути уже не являются романами. В книге Левина есть фразы, глубоко меня взволновавшие: «the best writing of our contemporaries is not an act of creation, but an act of evocation, peculiarly saturated with reminiscences»⁹. Или вот эта: «He has enormously increased the difficulties of being a novelist...»¹⁰

¹ Музыка, наука и искусство (англ.).

² Музыкальная эстрада (англ.).

³ Книга о современных композиторах (англ.).

⁴ Интуиция в творчестве Бетховена (англ.).

⁵ Джеймсе Джойсе (англ.).

⁶ Поминки по Финнигану (англ.).

⁷ Так как произведения Джойса посвящены показу разложения средней буржуазии, то по манере письма они выходят за рамки обычной беллетристики. Ни «Портрет художника», ни «Поминки по Финнигану», строго говоря, нельзя назвать романами, а «Улисс» — это роман, после которого никакие романы уже невозможны (англ.).

⁸ Не пережил ли роман самого себя со времен Флобера и Джеймса, и не следует ли считать «Улисса» эпической поэмой (англ.).

⁹ В лучших работах наших современных писателей образы и представления не создаются, а лишь вызываются к жизни в памяти читателя (англ.).

¹⁰ Он в огромной степени усложнил задачу романиста (англ.).

«Бьюсь над новой главой. Нужно оттянуть задуманный поворот, здесь это получилось бы слишком тяжело и грубо. Идея дать чорта в трех масках, неизменно окутанного ледяным холодом... Последнее место переписал. «Meilleur»¹. Еще раз взялся за XXI. Заметки для диалога с чортом. Писал XXII (двенадцатитоновая техника). С удовольствием ощутил включение изученного и усвоенного в атмосферу и связи книги...» Дело двигалось, верил ли я в него или не верил. В конце августа (Париж был взят, немецкий гарнизон изгнан, Лаваль бежал, Петена увезли немцы) я пришел к заключению, что роман «наполовину написан», и согласился сделать перерыв — в частности, наверно, и потому, что на осень, согласно договору с агентством Колстон Леф, было назначено лекционное турне, требовавшее определенной литературной подготовки. Кстати сказать, путем переписки я несколько сократил эту поездку, боясь чрезмерно расходовать силы на дальние странствия. Занимаясь на первых порах мелкими, промежуточными работами, предисловием к стокгольмскому изданию «Сервантеса» Бруно Франка, статьей о Гриммельстаузене для другого шведского издательства, я слушал куски из нового рассказа Леонгарда Франка, из его «Немецкой новеллы», которые он читал нам в часы своих вечерних визитов. Он, сколь ни странно подобное положение, не мог закончить свой роман «Матильда», не дождавшись развязки событий, конца войны, и весьма достойно заполнял вынужденный досуг отделкой этого меньшего по объему произведения. Несомненно, оно испытало какое-то влияние «Фаустуса», его настроения, его идей, впрочем принадлежавших Франку в такой же мере, как и мне самому. Меня пугало заглавие. Слово «немецкий», разумеется, обыгрывалось. Но если я перенес его в пояснительный подзаголовок, как сухое, уточняющее определение к «композитору», Франк козырял им в основном заглавии, более того — превращал его в заголовок. Он отверг высказанные мною соображения о вкусе и такте, хотя охотно принимал частные советы и замечания. Его тихое, слегка запинаящееся чтение я слушал с искренним уважением. Поэтически чрезвычайно удавшийся быт старинного немецкого городка (Ротенбурга-на-Таубере); подробности, относящиеся к ремеслам, в которых бывший механик и слесарь-подмастерье знал толк и которым опять-таки сумел придать специфически «немецкий» колорит; болезненно-психологическая подоплека, а именно разрыв между полом и любовью, и таинственный демонизм рассказа — все это необычайно меня привлекало, и я остался поклонником этого до сих пор еще недооцененного маленького шедевра.

Снова и снова музыка — жизнь и общество дарили ее мне непрестанно, с какой-то загадочной услужливостью, гораздо чаще, чем нынче, когда роман написан и музыка опять отошла на периферию моих интересов. У доктора Альберстейма, с которым мы познакомились через Нейманов, музыканта и музыковеда, кстати сказать консервативной ориентации, весьма далекого от более отвечавших моей задаче взглядов Адорно, устраивались восхитительные вечера, где с разнообразной программой выступали «stars in the making»², начинающие инструменталисты и певцы. Темянка жил довольно далеко, за «BowI'em», у Даунтауна; меня не пугали никакие расстояния, даже если время года сулило туман на обратном пути. Исполнялись скрипичная соната Генделя с великолепным ларгетто; сюита Баха в восьми частях: квартет с гобоем, партию которого вела скрипка, одного присутствовавшего на вечере венгерского композитора. Мы ужинали с Чарльзом Лафтоном, жутковато-затейливым и глубоким актером, чудесно прочитавшим затем с европейским английским выговором отрывок из «Tempest»³. Ни Париж, ни Мюнхен 1900 года не могли бы похвастаться вечером, где царил бы более приятная атмосфера искусства, вдохновения и непринужденности.

¹ Лучшее (франц.).

² Будущие звезды (англ.).

³ «Бури» (англ.).

Адорно дал мне тогда прочесть свою очень умную статью о Вагнере, которую половинчатость критики и так и не доходившая до полного отрицания строптивость роднят с моим собственным опытом «Страдания и величие Рихарда Вагнера». Наверное, эта статья и заставила меня в тот вечер снова прослушать записи «Сна Эльзы» с магическим пианиссимо трубы, вступающей при словах «В сиянье лат серебристых — мне рыцарь вдруг предстал», и заключительную сцену из «Золота Рейна» со всеми ее красотами и прелестями: первым появлением идеи меча, дивным развитием мотива «Валгаллы», гениально яркими репликами Логе, этой фразой «Если не светит золото вам» и прежде всего с неописуемым, сентиментально-томительным «Только в глубинах правда таится» из терцета дочерей Рейна. «Мир трезвучий «Кольца», — признался я в дневнике, — по сути моя музыкальная родина». Впрочем, ниже прибавлено: «И все-таки я никогда вдоволь не наслаждаюсь тристановского аккорда в фортепьянном изложении».

Однако музыка была теперь не столь актуальна для действия романа, работу над которым я очень скоро возобновил. Главой XXIII я вторгся в побочные светские перипетии, в мюнхенские воспоминания, и мне нужно было наладить знакомство Адриана с Пфейферингом и усадьбой Швейгештилей. По-видимому, с этой задачей было в какой-то степени связано то обстоятельство, что я выбрал для чтения письма Стендаля. Ум, мужественность, храбрость и тонкость автора «*Le Rouge et le Noir*»¹, романа, создающего такое впечатление, будто до него вообще не было никаких романов, очень мне импонировали. Особенно запали мне в память переживания, вызванные у Стендаля встречей с неким молодым русским офицером, на которого он «не осмеливается взглянуть». Его охватила бы страсть, «если бы» (это «если бы» у него повторяется) он, Стендаль, был женщиной, а не мужчиной. Родовые муки страсти — их-то он как раз и наблюдает на собственном примере. Это — редкостное проникновение гомоэротизма в очень мужественный, но и очень открытый и очень пытливый, когда дело касается психологии, характер. Разумеется, я взял на заметку упомянутый случай, имея в виду свой дальний прицел — отношение Адриана к Руди Швердтфегеру, то совращение одиночества непоколебимой доверчивостью, где гомосексуальность играет этакую бевсовскую роль.

Огромное удовольствие доставила мне книга Олдоса Хаксли «*Time Must Have a Stop*»², несомненно представляющая собой смелый *tour de force* нынешнего романа. Я перечитывал «*Ессе homo*» Ницше, беккеровского «Бетховена», «Воспоминания о Ницше» Дейсена. Письма детей из-за океана вызывали у нас тревогу, но в то же время и гордость — тем, что благодаря своим детям, мы тоже участвуем в войне, остававшейся в наших глазах борьбой против врага человечества. Клаус, лишившийся в одном итальянском городке друга, которого, почти в буквальном смысле слова, оторвал от него снаряд, был болен малярией и лежал в госпитале Восьмой британской армии. Голо, с утра до ночи работавший в Лондоне на «*American Broadcasting Station in Europe*»³, старательно преувеличивал, *ad usum parentum*⁴, безобидность все еще летавших над Англией роботов. Эрика, находясь в Париже, наблюдала неисправимую косность французской буржуазии и ее правящей верхушки, косность, кстати сказать только усугубляемую поведением освободителей.

Однако судьба Третьей империи была решена. Дело шло уже не о «Европейской крепости», а о «крепости Германии». В сводках обоих фронтов стали появляться немецкие географические наименования. На востоке и на западе союзники вступили на немецкую землю. Остаток своей жизни нацистское государство расходовало на

¹ «Красного и черного» (франц.).

² Время должно остановиться (англ.).

³ Американской радиовещательной станции в Европе (англ.).

⁴ Приспосабливая для родителей (лат.).

гнусные умерщвления. Генералу Роммелю, замешанному в спасательном заговоре офицеров, медленная расправа над которыми была для фюрера заснята на пленку, предложили на выбор самоубийство и почетные похороны или позорный судебный процесс по обвинению в государственной измене и смерть на виселице. Он принял яд и остался «самым выдающимся полководцем этой войны». Монтгомери всегда возил с собою его портрет и надеялся в один прекрасный день встретиться с ним лицом к лицу. Можно не сомневаться, что в Англии, где так любят спорт, Роммеля чествовали бы как упорного, смелого и ловкого противника, каковым он действительно был. Неужели он никак не мог бежать через Ламанш? До чего же жаль было каждого, кто еще умирал за Гитлера!.. Когда Аахен обратился в щебень и пепел, началось самоустранение нацистских заправил.

Мы считали нужным отстоять «fourth term»¹ Рузвельта от посягательств республиканцев, и я обрадовался, когда местная организация партии пригласила меня на митинг в честь этого удивительного человека. Среди заметок вроде «долго и усердно трудился над своей главой» в конце октября встречается и такая: «Речь в защиту Рузвельта». «Gathering»² состоялся 29-го числа в одном частном саду дачного поселка «Бель Эр». Собралось не более двухсот человек; несмотря на нарастающе сырой и промозглый вечер, они высидели несколько часов в расставленных на траве креслах, ибо «they had a good time»³. В таких случаях в Америке принято перемежать политические призывы и «money-raising»⁴, техника которых у иных ораторов развита просто невероятно, всякого рода аттракционами в стиле варьете, не имеющими ни малейшего отношения к предмету, но на свой лад способствующими вящему успеху мероприятия. В числе прочих выступали один мнимый «испанец», чрезвычайно ловкий иллюзионист, утверждавший, что научился своим фокусам у великого китайского мага по фамилии Розенталь, и одна молоденькая чревоушательница, великолепный мастер своего дела; держа на руках пучеглазую куклу, она до того забавно с ней разговаривала, что я все еще смеялся, когда шел к трибуне, чтобы произнести свою речь, при таких обстоятельствах, по-видимому, слишком серьезную. Однако она отнюдь не оказалась слишком серьезной, напротив, я попал в самую точку — но опять-таки на свой лад. Затем снова последовали комические номера, и в общем все чудесно повеселились, так что ни у кого не осталось сомнений в повторном избрании Ф. Д. Р.

С каким странным чувством растроганности я читаю сейчас коротенькую запись следующего дня! Она связана с новым штудированием «Love's Labour's Lost» и содержит в себе один из зловещих афоризмов этой пьесы, а именно стихи:

Their form confounded makes most form in mirth,
When great things labouring perish in their birth⁵.

Я прибавил: «Первый стих можно отнести к «Иосифу», второй — «Фаустусу». Такая цитата и комментарий к ней напомнили бы мне, если бы я это забыл, какие тревоги и сомнения пришлось мне преодолеть ради моего романа, как близок я был к мысли, что замысел пойдет прахом. Эти заботы мучительно усиливались по мере того как ухудшалось мое здоровье. Уже через два дня, в гостях (у Эдди Кнопфа, в обществе Эрнста Любича, графа Остгейма с супругой — американкой, и Салки Фиртель) у меня была жестокая головная боль, а на завтра я лежал с гриппом, кото-

¹ Четвертый срок (англ.).

² Собрание (англ.).

³ Они приятно проводили время (англ.).

⁴ Здесь — обогащение (англ.).

⁵ Смешно смешенье форм, смешить — его удел, в зародыше губя плоды великих дел (англ.). (Перевод А. Сыркина.)

рый распространился на желудок и кишечник и в течение одной недели сократил мой вес на четырнадцать фунтов. Эту потерю мне никак не удавалось восполнить несколько месяцев.

IX

Точно в день выборов, 7 ноября, я встал с постели. Однако инфекция, как это обычно у меня бывает, оказалась очень живучей; сохранив свои очаги в организме, она вызвала скверные осложнения: сначала пренеприятное воспаление в гортани, затем резкие, связанные с «тройничным нервом» боли в лице, похожие на зубную боль и уготовившие мне много тяжелых дней и еще более тяжелых ночей. Смесь эмпирина с кодеином оказывала весьма слабое действие; перейдя на маленькие грелки из льняного семени, которые надо держать во рту, я в своем гневе на невралгию злоупотреблял ими настолько, что нажил жестокие ожоги слизистой оболочки.

Вдобавок ко всем этим обстоятельствам мне казалось целесообразным и своевременным изменить характер своей работы, заняться какой-нибудь выездной лекцией, и тут начались осторожные поиски темы, отвечающей требованиям времени и для меня подходящей. Я хотел, чтобы она была как можно ближе к насущным, злободневным событиям, как можно больше опиралась на них и из них исходила. Стало быть, что-то о Германии, о характере и судьбах этого народа; и, читая всевозможные труды по немецкой истории, о Реформации и Тридцатилетней войне, в том числе «Историю Европы» Кроче, я стал делать наброски и заметки на этот сюжет, впрочем без подлинного намеренья и желанья продолжить такую работу. Если подобная перемена направления мыслей, произвольное переключение их на какой-то новый курс всегда является тяжелой нагрузкой для моих нервов и делает меня полубольным, то при тогдашних обстоятельствах все это и подавно имело место; однако на сей раз моя внутренняя неподатливость отнюдь не объяснялась потребностью вернуться к главной задаче. «По-прежнему подавленность, усиленная ужасным сознанием, что погубил роман, который вначале так волновал меня своей новизной. Тягостные, бездеятельные дни». Ниже: «Ужинали у Верфелей с Франками, только что вернувшимися из Нью-Йорка. Франк скорее ослабел, чем поправился. Читал XXIII (мюнхенскую) главу с большим напряжением. Реакция меня поразила. Умные, трогательные замечания Верфеля о тематике и новаторской композиции книги, которая, по-моему, находится под угрозой...» Должно быть, это решило дело. На завтра рабочие часы были еще отданы эскизам к лекции, но уже на второй день я решил отложить и поездку и лекцию на неопределенный срок и телеграфировать об этом агенту и Мак-Лишу, сославшись на плохое здоровье. «Важное решение. Хотя я давно уже о нем подумывал и оно принесло мне известное облегчение, я стыжусь его и чувствую себя, как школьник, сбежавший с уроков. Но если бы я бросил роман на произвол судьбы, разве это не походило бы на прогул еще больше? Беспокойство, внушаемое мне этим произведением, которое так или иначе нужно довести до конца, — это как раз лишнее основание не оставлять его ради работы над лекцией и поездки. Пока я пишу эти строки, К. отправляет телеграммы. Эмпирин, чтобы унять боль...»

Так или иначе. В дневнике снова: «Занимался «Фаустусом». Языковые и сюжетные заготовки для дальнейшей работы... Вечером опять долго читал письма Ницше. Удивительно его отношение к Роде, неудержимо и все заметнее теряющее подобие какого-либо отношения. Односторонность и безнадежность его связи с Буркгардтом. Проницательность Брандеса. Несколько мальчишеский восторг Ницше, узнавшего, что «Гете» значит «изливающий», «производитель», «жеребец», «самец»!.. За две недели я написал проходную XXIV главу, действие которой протекает уже в Палестрине, и в один из вечеров этих двух недель прочитал супругам Адорно и приведенным ими

с собой друзьям переписку между Адрианом и Кречмаром. Гегельянца Адорно эти письма заинтересовали «диалектикой». Но еще больше он похвалил вмонтированное мною описание музыки, хотя и не опознал — что весьма любопытно — мою модель (пролог к третьему акту «Мейстерзингеров»). Он ошибся в размерах и принял это за вымышленную, куда более длинную пьесу, чем меня, однако, отнюдь не огорчил. Для меня важнее всего было то, что я снова ввел его в музыкальную сферу книги и заручился его участием. С Шенбергом, сколь высоко он его ни ценил, Адорно не состоял в личном контакте — потому, наверно, что учитель чувствовал какую-то долю критцизма в почтительности ученика. Зато в доме Шенберга можно было встретить Ганса Эйслера, искрометные речи которого всегда меня веселили и забавляли — особенно когда дело касалось Вагнера и потешно-двойственного отношения Эйслера к этому великому демагогу. Когда Эйслер «выводил его на чистую воду», и, грозя пальцем, восклицал: «Ах ты старый мошенник!» — я прямо-таки умирал от смеха. Помню, как однажды вечером он и Шенберг, кстати сказать по моей просьбе, исследовали, сидя за фортепьяно, гармонию «Парсифаля» в поисках неразрешенных диссонансов. Строго говоря, обнаружен был только один: в партии Амфортаса, в последнем акте. Затем последовало объяснение архаических форм вариации, осведомиться о которых у меня были свои причины, и Шенберг подарил мне карандашный автограф, состоявший из нот и цифр и наглядно показывавший эти формы.

Тогда у меня под рукой оказалась книга Кьеркегора «Либо — либо», и я читал ее с великим вниманием. «Сумасшедшая любовь к Моцартову «Дон-Жуану». Чувственность, открытая христианством наряду с духом. Музыка как демоническая сфера, «чувственная гениальность»... Чрезвычайно примечательна родственность моего романа кьеркегоровскому миру идей, совершенно неведомому мне доселе. Например, разговор на «Сионской горе» о христианском браке — да и многое другое — создает впечатление знакомства с Кьеркегором...» В середине декабря я принялся, «не зная, что из этого выйдет», писать XXV главу, главу с чортом, в начале которой Леверкюн сидит в итальянском зале с книгой этого «христианина» в руках. «Писал разговор с чортом» — такими словами отчитывался я в дневнике более двух месяцев, захвативших и рождество, и добрую часть нового года, отчитывался, несмотря на превратности быта, войны, здоровья, а также на неизбежные отклонения в работе, из которых назову только ежемесячные радиопередачи для Германии (для записи их мне приходилось ездить в голливудский филиал «National Broadcasting Company»¹) и еще статью, в великом потрясении написанную мною для «Фри Уорлд», уже одним своим заголовком «The End»² тесно связанную с сокровеннейшей темой «Фаустуса» и благодаря «Ридерз Дайджест», а также множеству мощных радиостанций получившую широкое распространение в Америке.

Диалог Адриана с давно ожидаемым, с давно уже украдкой введенным в роман посетителем находился еще в начальной стадии, когда телефонный звонок моего брата Генриха известил нас о смерти многолетней спутницы его жизни. Повторная попытка несчастной женщины покончить с собой, приняв повышенную дозу снотворного, на этот раз удалась. Мы похоронили ее 20 декабря на кладбище в Санта-Моника, и большая толпа участников траурной церемонии выразила свое почтительное соболезнование моему овдовевшему брату. Остаток дня он провел у нас, и само собой разумеется, что после такой утраты мы сблизились с ним еще больше. Довольно регулярно привозя его к себе, мы часто проводили теперь вечера и в далеком Биверли-Хиллз, в его квартире, ибо он оставался ей верен; в таких случаях он читал нам отрывки из романа «Прием в свете», гениально-фантастического произведения, действие которого протекает везде и не протекает нигде. Она как раз выходила тогда из-под

¹ Национальной радиовещательной компании (англ.).

² Конец (англ.).

пера неутомимого труженика, эта причудливая галерея масок, эта социальная драма поколений, отмеченная всеми чертами высокой оригинальности. Московская «Интернациональная литература» должна была вскоре опубликовать большие куски из его мемуаров, озаглавленных «Обзор века». Свое восхищение этой единственной в своем роде книгой, ее гордой скромностью, ее наивнейшим упрямством, ее новаторским стилем, сочетающим простоту с интеллектуальной гибкостью, я попытался выразить в «Рассказе о моем брате», написанном к семидесятипятилетию этого большого писателя для одной немецкой газеты, издававшейся в Мехико...

Дела житейские... Через десять дней после похорон — крестины: Тонио, второй сыночек нашего младшего сына, и Доминика, вторая дочурка Элизабет Боргезе, нашей младшей дочери, были окрещены в Unitarian Church¹ — без всякой религиозной претенциозности, очень просто и человечно. Это было самое приятное соприкосновение с церковью за всю мою жизнь. Разговоры в семейном кругу, с Боргезе, да и с такими друзьями, как Нейманы, то и дело возвращались к военному положению. Теперь, когда оглядываешься назад, нерешительность наших прогнозов, в то время еще достаточно оправданная, кажется весьма странной. Несмотря на отчаянное положение гитлеровской Германии, тогда нельзя было не считаться с возможностью, что война затянется на неопределенный срок, что тем временем произойдут какие-то перемены в правительстве, сопутствуемые убийствами фюреров, и что, стало быть, мир воцарится только после периода хаоса, ибо перемирие будет подписано уже другими людьми. Судя по настроению в Америке, с «моральным духом» американских войск дело обстояло далеко не благополучно. Здесь, внутри страны, налицо была ненависть к евреям, к русским, к англичанам — к кому угодно, только не к немцам, с которыми нужно было воевать. Единственным фактором, предотвращавшим распад коалиции, внутренне столь непрочной, являлась дипломатическая энергия Эйзенхауэра — этого верного исполнителя высшей и мудрой государственной воли; его операция по высадке войск в Нормандии была беспримерным техническим шедевром. Что же касается самого государственного деятеля, в четвертый раз возглавившего Белый дом, аристократа и друга народа, опытного руководителя масс, способного тягаться с европейскими диктаторами как их прирожденный антагонист, великого политика добрых дел, в глазах которого популярная война с Японией была лишь средством для разгрома фашизма, спасенного «Мюнхеном» в 1938 году, — то этот человек был обречен на смерть.

Год закончился под знаком насущнейших политических забот. Наступление Рундштедта, эта последняя, отчаянно-смелая и хорошо подготовленная попытка нацистской власти изменить свою судьбу, было на полном ходу — его успехи внушали ужас. «Отступление на более удобные позиции» давно уже фигурировало только в сводках противника. Теперь оно стало нашим уделом в Восточной Франции. Потеряны все предмостные укрепления на участке фронта шириною в пятьдесят миль, удержаны только окрестности Аахена и небольшая часть Саарской области, под угрозой Страсбург, даже Париж, повсюду в Европе паника перед лицом нового немецкого натиска — вот какова была тогда картина, и люди с ужасом думали о несчастных бельгийцах, снова оказавшихся под владычеством немцев. Но этот эпизод давно забыт. Он продолжался всего несколько дней, и, по примеру газет, мои ежедневные записи могли о нем умолчать. В те тяжелые дни я продолжал работать над начатой главой и во второй половине января, дома, в один прием прочитал вслух почти все, что успел написать из центрального диалога, около тридцати страниц. В числе моих слушателей была Эрика, тотчас же предложившая некоторые облегчающие сокращения. «Длинноты, — записано у меня в тетради, — представляют собой эстетическую опасность для этой довольно живой поначалу главы — как, впрочем, и для всей книги. При таких размерах сохраняется только очень добротная занимательность». Можно было

¹ Церкви унитариев (англ.).

рассчитывать, что в начале февраля удастся закончить чудовищный диалог. В ушах у меня звенели истерические причитания немецких дикторов о «священной освободительной войне против бездушной массы», когда я писал страницы о преисподней, самое, пожалуй, яркое место этой главы — кстати сказать, немислимое, если не пережить в душе все ужасы гестаповского застенка — место, которое я всегда читал вслух, демонстрируя ради утешительного самообмана наиболее надежные куски книги, ее изюминки, — иными словами, то, что никак не позволило бы слушателям догадаться о моей тревожной неуверенности в полной удаче.

20 февраля, как значится в дневнике, я, к несомненному своему облегчению, закончил диалог с чортом. Он составил пятьдесят два листа рукописи. Только теперь, когда, судя по числу страниц, книга была действительно написана ровно наполовину, настала пора сделать перерыв, и на другой же день я стал разрабатывать вашингтонскую лекцию «Germany and the Germans»¹, вчерне уже подготовленную и отнявшую у меня следующие четыре недели. Тем временем «Третья империя» быстро разлагалась и распадалась. Мемель был взят, Бреславль и Познань — окружены. Беженцы пробирались к Берлину, но их гнали все дальше и дальше. Газета «Кельнише цейтунг», явно уже не контролируемая никакой цензурой, откровенно писала, что вся империя, от края до края, охвачена паникой и что силы народа, армии и фюрера истощены пятилетней войной. Сосредоточив пехоту и тяжелую артиллерию в тридцати милях от Берлина, русские снова обратились к немцам с призывом свергнуть и выдать фашистское правительство во избежание национальной катастрофы. Но кто мог его свергнуть, кто — выдать? Нацисты заранее позаботились о том, чтобы государственному организму нельзя было сохранить жизнь и чтобы от него постепенно отваливался кусок за куском. В начале февраля сообщалось, что после падения Берлина они намерены занять оборонительную линию в Австрийско-Баварских Альпах с главным опорным пунктом в Берхтесгадене — словом, уйти в Богемские леса. Но вскоре слухи об этом заглохли.

Ялтинский манифест «Big Three»² не сулил никакого послабления Unconditional Surrender³, но заверял, что никто не собирается истреблять немецкий народ. Гитлеровские войска отошли на восточный берег Рейна, взорвав все мосты, кроме одного, который загадочным образом уцелел. Считалось, что американцам трудно будет переправиться через реку, однако в начале марта они неожиданно переправились и, обеспечив себе подкрепление, взяли Бонн. В те дни я много читал Гейне, его фельетоны о немецкой философии и литературе, а также о фаустовской легенде. Работая над лекцией, я внутренне был близок к своей главной задаче и при случае читал вслух из недавно написанного. Светские мои встречи, например встреча со Шнабелем, Шенбергом, Клемперером в доме молодого Рейнгардта, где после ужина началась долгая дискуссия о музыке, также способствовали сохранению «контакта». Готовясь к лекции и работая над разделом о немецких романтиках, я читал дневники Геббеля и нашел там замечательную фразу (записанную в Париже): «До сих пор история только завоевывала идею вечного права как таковую, в будущем ей придется эту идею практически применять...» В те дни я получил одно необыкновенно приятное письмо; его прислал мне некий американский солдат с Филиппин. «I envy you, your swift, sure maturity, your heritage of culture, your relentless self-discipline. Such things are hardwon in European civilization. Here in America they are almost nonexistent»⁴. Я порадовался не столько за себя, сколько за несчастную и униженную Европу. По-видимому, этот молодой янки

¹ Германия и немцы (англ.).

² Большой тройки (англ.).

³ Безоговорочной капитуляции (англ.).

⁴ Я завидую Вам, Вашей живой, уверенной в себе силе, Вашей потомственной культуре, Вашей безжалостной самодисциплине. Все это дорогой ценой добыто в странах европейской цивилизации. Здесь же, в Америке, этого почти нет (англ.).

отнюдь не был приверженцем «American Century»¹. Еще один американец тронул меня своими словами — наш старый друг и сосед, заслуженный профессор философии, dean² Генри Райбер, который под свежим впечатлением моей грустной статьи «The End»,³ опубликованной в «Фри Уорлд», пожав мне руку, сказал: «Don't take the world too hard! Each evening we pray for you»⁴. Как это было непохоже на отношение патриотической эмиграции к моему восприятию и моему толкованию германской катастрофы! Не успел я закончить статью «Германия и немцы», эту интерпретацию немецкой трагедии, вернувшую мне, по выходе в свет, даже на моей старой родине многих, уже отдалившихся было от меня друзей, как статья профессора фон Гентига в нью-йоркской социал-демократической «Народной газете» начала серию тех грубых нападок на мои чувства, на мою позицию, которые, будучи позднее подхвачены еще более неумелыми перьями и, к сожалению, поощрительно поддержаны Альфредом Деблином, нет-нет да возобновлялись в печати, уязвляя и угнетая меня гораздо сильнее, чем это мне следовало допускать.

В двадцатых числах марта я снова готовился продолжать «Фаустуса», составляя хронологическую таблицу и перечень событий и явлений духовной жизни с 1913 года до конца книги, просматривая записи в дневнике, относящиеся к началу первой мировой войны. Я правил переписанное на машинке и «не был счастлив». После того как союзники переправились через Рейн и форсировали Одер, стремительный ход событий в Германии вызывал тягостную растерянность, но нисколько не окрылял. «Победоносная безнадежность» — эту запись в дневнике я толкую как неверие в способность победителей выиграть после войны мир. Единственной темой беседы с двумя навестившими меня в эти дни швейцарцами, консулом и журналистом, были американо-русские противоречия и предстоящее восстановление Германии. «Победа будет загублена еще более жестоко, чем в прошлый раз». В кругу друзей уже поговаривали о «почти predetermined истребительной войне будущего».

«Занят романом. Пытаюсь как-то включиться в него и подхлестнуть себя. Но меня сковывают недовольство и скука. В том, что это произведение не удалось, кажется, уже можно не сомневаться. И все-таки я доведу его до конца». Я уже начал писать XXVI главу и, стало быть, ту часть книги, что подводит к войне 1914 года, когда однажды во второй половине дня — это было 12 апреля — поднял с земли, у ворот нашего дома, вечернюю газету, которую там обычно оставлял почтальон. Я взглянул на огромный headline⁵, помедлил и молча протянул газету жене. Умер Рузвельт. Мы стояли в полной растерянности, с таким чувством, как будто все вокруг нас притаило дыхание. Зазвонил телефон. Я отказался от предложенного мне импровизированного выступления по радио. Мы составили телеграмму вдове усопшего и весь вечер не отходили от репродуктора, с волнением слушая соболезнования и траурные сообщения из всех стран мира. В последующие дни мы способны были читать и слушать только о нем, о подробностях его кончины, о церемонии похорон в Гайд-Парке. Вся земля была тогда потрясена сознанием роковой утраты. У всех нас звучали в ушах слова уважаемой Элеоноры Рузвельт: «Я больше скорблю о нашем народе и о человечестве, чем о нас самих». И все-таки было очевидно, что внутри страны к скорби порой примешивалось чувство удовлетворения, проскальзывавшее даже в официальных траурных декларациях. Вдох облегчения, который всегда доводится слышать после смерти великого человека, поднявшего нацию выше ее прежнего уровня, что для нации довольно обременительно, — этот вздох более чем внятно раздавался и теперь. Известно, что кое-кто

¹ Американского века (англ.).

² Декан (англ.).

³ «Конец» (англ.).

⁴ Не принимайте всего слишком близко к сердцу! Каждый вечер мы молимся за Вас (англ.).

⁵ Заголовок (англ.).

в честь такого известия пускал в потолок пробки от шампанского... В уверениях, что все останется по-старому, не было недостатка. Дата открытия конференции союзников в Сан-Франциско, куда собирался поехать покойный, осталась та же. Война продолжалась. Выступая перед конгрессом, преемник Рузвельта говорил о своей верности принципу «Unconditional Surrender» и курсу на установление прочного мира. Не предполагалось никаких изменений в военной сфере. Тем больше, наверно, должно было произойти изменений в сфере гражданской. «Кончается целая эпоха. Той Америки, в которую мы приехали, больше не будет».

Я был на траурном собрании в санта-моникском Municipal Building¹. Руководили собранием духовные лица — епископ и раввин, и раввину выпала даже главная роль. Его речь походила на какой-то первобытный плач, на какую-то древнюю песнь пустыни, и при каждом упоминании имени усопшего еврейская часть аудитории вторила оратору ритуальными стонами. Затем говорил я. Мы не имели возможности выслушать речь епископа, так как нужно было немедленно доставить на телеграф английский и немецкий текст моего прощального слова. Его опубликовали «Фри Уорлд» и «Ауфбау», и оно вышло также на испанском языке. Я положил его в основу одной из своих последних радиопередач для Германии, пресса которой обливала грязью великого противника фашистских правителей. Одновременно надлежало приготовить застольную речь для банкета в ознаменование начала движения «Interdependence»², организованного философом Виллем Дюраном. Эта церемония состоялась 22 апреля в помещении голливудской гостиницы «Рузвельт». В числе присутствующих был Теодор Драйзер. Как раз в те же дни, после взятия Веймара, один американский генерал приказал немецкому гражданскому населению продефилировать перед крематорием тамошнего концентрационного лагеря, возложив, следовательно, на этих граждан, не желавших ни во что вмешиваться, определенную долю ответственности за все творившиеся там и ныне раскрытые ужасные преступления. То, что обнаружилось здесь и в других местах, по своей отвратительности превосходило любые догадки и ожидания. В Германию отправились парламентские комиссии, чтобы довести до сведения делегатов Сан-Францисской конференции самые невероятные факты. Для нас, давно уже уразумевших, что представляло собой германское «Национальное государство», тут не было ничего неожиданного и ничего невероятного. Но все-таки мы тоже были потрясены, а одна наша знакомая немка, вышедшая замуж за американского ученого, несколько дней стыдилась показаться в обществе и даже просто на улице. Office of War Information потребовал, чтобы я как-то откликнулся на эти новости, и я повиновался, написав статью «Лагеря», получившую, как мне позднее сообщили, широкое распространение.

Несмотря на все это, под лавиной диких событий, под ежедневным градом сногшибательных новостей — захвачен и унизительно казнен Муссолини; Берлин целиком в руках русских; на куполе рейхстага — советское знамя; повальное самоубийство нацистских заправил, вскрывавших зубами предусмотрительно припасенные ампулы с синильной кислотой; Гитлер и Геббельс — обуглившиеся трупы, и английская пресса цитирует: «The day is ours, the bloody dog is dead»³, — несмотря на все это я, пользуясь выражением из моего дневника, «снова взял на плечо» ношу романа и «довольно бегло» писал XXVI главу, переселение Адриана в Пфейферинг. Этим же я был занят и в тот седьмой день мая, когда сделал следующую заметку: «Объявлено, что Германия сдалась. Подписана безоговорочная капитуляция в уповании на великодушные победителей... Неужели это и есть день, соотносящийся с тем двенадцатилетней давности днем, когда я начал эту серию ежедневных записей, — день исполнения желаний

¹ Муниципальном совете (англ.).

² Взаимозависимости (англ.).

³ Наш день настал, кровавый пес издох (англ.).

и торжества? Не скажу, чтобы я был в приподнятом настроении. С Германией чего только не произойдет, — но ничего не произойдет внутри Германии. Именно потому, что в этом я убежден, все гадкие стороны моей натурализации в Америке всячески отравляют мне радость. Удовлетворение только в том, что физически дожил до этого дня. Пять лет назад, после падения Франции, Геббельс объявил о моей смерти. Ничего другого он и представить себе не мог. И если бы я отнесся к мнимой победе Гитлера с полной серьезностью и по-настоящему в нее поверил, то мне и в самом деле ничего другого не осталось бы, кроме как умереть. Пережить значило победить. Я боролся и клеймил растлителей человечества презрением и проклятием уже потому, что я жил: значит, это и моя личная победа. Совершенно ясно, кого нужно благодарить за нее. Рузвельта».

Без прочно укоренившейся, стойко сохраняемой даже и в тот период привычки целиком отрешаться в утренние часы от 9 до 12 или до половины первого от любых внешних впечатлений, отдавая эту часть дня уединению и работе, едва ли я ухитрился бы при таком натиске извне заниматься гимнами Адриана на слова Китса и Клопштока (в XXVII главе) — кстати сказать, при содействии Адорно, чей интерес к моей книге все больше возрастал по мере того, как он с нею знакомился и который теперь ради нее пустил в ход свое музыкальное воображение.

Но вот поступили первые сообщения непосредственно из оккупированной Германии. Выяснилось, что множество людей, несмотря ни на какие опасности, жадно слушало английские передачи, в том числе и мои выступления. Клаус находился в Мюнхене в качестве специального корреспондента «Старз энд страйпс». Наш дом, в который неоднократно попадали бомбы, сохранил только внешние контуры, а внутри, где его уже и раньше не раз перестраивали, был разрушен до основания. Мы знали, что при нацистах он временно служил приютом для одиноких матерей; приют именовался «Акционерное общество «Кладезь жизни». Теперь в опустелых развалинах поселились всякие беженцы и жильцы разрушенных бомбардировкой домов. Знаменательно, что никому из тех, кто в начале Тысячелетней империи покупал на аукционе нашу мебель, наши книги и произведения изобразительного искусства, до сих пор так и не пришло в голову вернуть нам хоть что-нибудь из разграбленных вещей.

В эти майские дни, в эту обычно столь приятную и благотворную для меня пору, в дневнике появляются записи о посещениях рентгеновских лабораторий, о врачебных check-ups¹, об анализах крови, об исследованиях отдельных органов моего тела — впрочем, с успокаивающе отрицательным результатом. И все-таки я чувствовал себя прескверно. Потрясающее, фантастическое неистовство злободневных событий, сумятица в работе, борьба с книгой, задевшей меня за живое, которую я упорно стремился завершить, — все это было, пожалуй, слишком большой нагрузкой даже для моего вообще-то выносливого организма. «Все в один голос говорят мне, что я похудел. Ни мышьячные, ни витаминные инъекции не в силах воспрепятствовать дальнейшей потере веса. Если бы я хоть немного крепче держался на ногах! Правда, у меня и в самое последнее время бывали еще кое-какие отдельные удачи, но все-таки чувствую, что «ущербляюсь». Я употребил это слово в том лунно-мифологическом смысле, какой оно часто принимает в историях об Иосифе. Действительно, нервное переутомление доходило порой до полного истощения сил. Случалось, что во время прогулки к океану я садился у обочины дороги и бывал рад, если за мной посылали машину, чтобы привезти меня домой. Между тем приближался срок поездки в Восточные Штаты, поездки, в которой мне предстояло отпраздновать свое семидесятилетие и которая явно сулила множество впечатлений и обязанностей.

Я выехал 24-го числа с моей верной спутницей, чьей любви и безотказной поддержке буду несказанно благодарен всю свою жизнь — отбыл, полагаясь на запасы

¹ Осмотрах (англ.).

сил, как-никак высвобождающиеся при таких обстоятельствах, на перемену климата и преимущества устремленного только вовне бытия, на облегчающую разрядку в беззаботном и, однако же, проходящем под знаком великих моральных свершений юбилейном празднестве.

Х

Это путешествие было еще сопряжено со всеми неудобствами военного времени: сверхдлинный поезд, дорога от *compartment'a* к *dinner'у*¹ — настоящий поход, очередь за едой — подлинное испытание терпения, продолжавшееся иногда целыми часами и усугубляемое уже у самой цели несносным кухонным чадом. Один пожилой джентльмен, стоявший передо мной, упал в обморок, ухватившись руками за медную оконную жердь. Солдаты *military police*², охранявшие наш поезд, подняли его и незамедлительно отвели туда, куда мы все мысленно устремлялись: за столик в вагоне-ресторане. Очень силен был соблазн последовать его примеру. Ах, если бы можно было упасть в обморок по желанию! В отрочестве мои сестры проделывали это без малейшего притворства, когда им не хотелось идти в церковь.

В пути я читал «*Histoire des Treize*»³, испытывая, как всегда при соприкосновении с Бальзаком, самые противоречивые чувства: то покаяясь его величию, то досадуя на него за реакционность социальной критики, за католические выверты, романтическую сентиментальность и сгущенность красок. Мы остановились на один день в Чикаго, чтобы повидаться там с нашими близкими, и я прорепетировал у них «Лекцию о Германии», как оказалось, все еще слишком длинную. Я переделал ее в вашингтонском поезде с помощью Эрики, которая опять показала себя великой мастерицей сокращать и сжимать, искуснейше устраняя всякие педантические излишества.

В столице, снова будучи гостями дома на Крезнт-Плейс, мы наслаждались чудесными каникулами. Лекция в *Library*, как обычно, перед двойной аудиторией (одни слушали меня непосредственно, другие — через репродуктор в соседнем зале), прошла благополучно. Представил меня Мак-Лиш, только что вернувшийся из Сан-Франциско. Его преемник на посту государственного библиотекаря, Лютер Эванс, ходатайствовал о распространении через *Office of War Information* моего доклада в Европе. На одном из приемов в доме Мейеров мы снова встретились с Фрэнсисом Биддлом, в то время, если не ошибаюсь, уже не занимавшим должности *Attorney General*, и с его супругой; затем — с умным Уолтером Липшманом, которому очень понравилось мое несогласие с легендой о «доброй» и «злой» Германии, мое утверждение, что злая Германия одновременно является и доброй, доброй в своих заблуждениях и в своей гибели. Из Чикаго приехал Боргезе, из Нью-Йорка — Готфрид-Берман Фишер; с последним надо было обсудить отдельные детали стокгольмского издания моих сочинений. На следующий день я отправился с визитом в *Library* и, побывав в обоих ее зданиях, впервые получил представление о несметных сокровищах этого всеобъемлющего и непрестанно пополняемого собрания книг. На одном из столов доктор Эванс разложил передо мной рукописи Иоганна-Конрада Бейселя, учителя пения из Ефраты, ибо и они тщательно сохранялись здесь как курьез, и, таким образом, я увидел воочию, почти не веря своим глазам, продукцию этого наивно-деспотического музыкального новатора, чей образ играл в моем романе такую подспудно-многозначительную роль.

Вместе с Мейерами, у которых мы гостили, нас пригласили на обед к журналисту Пирсону, где был и Сэмнер Уэллес. Он очень разумно говорил о будущем Германии, высказавшись в пользу раздела Пруссии и федералистского решения вопроса в целом

¹ От купе к вагону-ресторану (англ.).

² Военной полиции (англ.).

³ Историю тринадцати (франц.).

при весьма умеренных изменениях восточной границы. Его планы показались мне ясными, гуманными и достойными одобрения. События, однако, как обычно, пошли неразумным путем... Достопамятное утро провели мы в National Gallery¹ у картин Рембрандта и итальянцев; нас сопровождал мистер Финдли, подаривший нам в своем офисе прекрасно иллюстрированный каталог этого собрания, а затем, поблизости, в Social Security Building² я позавтракал с Элмером Дэвисом и его ассистентом. Конечно, и здесь, в связи с моей лекцией, разговор коснулся германского вопроса, и я вспоминаю, какой скептической усмешкой ответили мне мои собеседники, когда я попытался им объяснить, что пресловутое «Deutschland, Deutschland über alles»³ было по сути весьма благонамеренным лозунгом, выражением надежды на великогерманскую демократию и отнюдь не предполагало, что Германия должна господствовать «über alles», надо всем миром, а означало лишь, что ее нужно ценить «превыше всего», если она действительно будет едина и свободна. Дэвис счел это, по-видимому, патриотической прикрасой, и у нас завязался весьма интересный разговор о первоначально революционной связи национального движения с движением освободительно-демократическим и о той, хотя и реакционной, однако в духовном плане не столь уж недостаточной борьбе, что вели Меттерних и Гентц против этого благородного, направленного к объединению немецких земель, но все же чреватого взрывом слияния...

Затем, в начале июня, мы отправились в Нью-Йорк, и наступили дни приятной праздничной суматохи, подробности которой я не стал описывать в дневнике, да и сейчас, пожалуй, почти целиком обойду молчанием. Хочу только сказать о своем сожалении по поводу того, что музыкантов очень обидела роль, отведенная музыке в моем докладе о Германии (я повторил его в Хантер-колледже). До сих пор помню, как поздно ночью я позвонил из гостиницы огорченному Адольфу Бушу, чтобы заверить его, что мои нападки на это искусство, самое немецкое из искусств, суть лишь форма почтительного признания... После устроенных «Трибуной» торжеств, на которые приехал из Принстона наш ученый друг, Христиан Гаусс, я сидел за стаканом вина с Паулем Тиллихом и писателем Генрихом-Эдуардом Якобом, и, делясь с нами своими воспоминаниями о концентрационном лагере, который оставил в его душе неизгладимый след, Якоб сделал при этом несколько замечаний об архаической основе народной психологии, поразительно совпадавших с некоторыми высказываниями на этот счет в начале «Фаустуса»... С Эком Боньером и его женой-американкой мы ездили в Олд Гринвич к Берманам, где собралось много гостей и отличные музыканты чудесно исполнили си-мажорное трио Шуберта. Много дружеских бесед было у меня в эти дни с Эрихом Калером. Даже вечер 6 июня мы провели у Бруно Вальтера, в узком кругу близких людей. В числе присутствовавших был Губерман, а после ужина явилось еще несколько друзей, и оба маэстро играли вдвоем Моцарта; не каждому выпадает на долю такой подарок на день рождения. Я взвесил в руке смычок Губермана, показавшийся мне поразительно тяжелым. Вальтер усмехнулся. «Да, легкость, — сказал он. — Дело тут не в смычке, а в нем».

На 25-е был назначен политический банкет «Нейшен ассошиэйтс». Десять дней мы провели с нашей дочерью Моникой в деревне, у озера Могонк, в округе Алстер, у подножья Скалистых гор. Мы жили в красивой, швейцарского стиля гостинице, обслуживаемой квакерами и расположенной на берегу озера, среди скалистых холмов парка, этакое благоуханное заповедника в викторианском вкусе, закрытого для чужих автомобилей, со всякими затейливыми outlooks⁴, башенками и мостиками. Этот, можно сказать, старомодный курорт без лечения, — если, конечно, не считать

¹ Национальной галереи (англ.).

² Дом общественной безопасности (англ.).

³ «Германия, Германия превыше всего» (нем.).

⁴ Видами (англ.).

лечением воздержание от алкогольных напитков, — хорошее место для отдыха, тем более что в это время года здесь дышится куда легче, чем в душном Нью-Йорке. Впрочем, и здесь достаточно парило, и обычно с утра до вечера грохотал гром. Я с великим трудом готовил речь для предстоявшего торжественного обеда, читал письма, читал «Моцарта» Альфреда Эйнштейна в английском переводе и перечитывал «Дядюшкин сон», восхищаясь прелестным образом Зинаиды, который получился таким ярким оттого, что автор к нему явно неравнодушен. Толчком к подобного рода чтению послужило обещание, данное мною в Нью-Йорке «Дайэл Пресс», написать предисловие к изданию повестей Достоевского. Я не случайно согласился это сделать. В эпоху моей жизни, прошедшую под знаком «Фаустуса», интерес к больному, апокалиптически-гротесковому миру Достоевского решительно возобладали у меня над обычно более сильной приязнью к гомеровской мощи Толстого.

Газеты пестрели сообщениями о триумфальной поездке Эйзенхауэра, этого победителя в европейской войне, по главным городам страны, причем не умалчивалось и о его неоднократных призывах к дальнейшему сотрудничеству с Россией. Я почти не сомневаюсь, что некоторые более поздние повороты на жизненном пути генерала были тесно связаны с этими неконформистскими убеждениями и что, если бы не они, он не был бы ныне ректором Колумбийского университета. Разве разгром Германии в союзе с Россией не был по сути Un-American activity? ¹ Вполне можно было бы назначить Congressional hearing ² по этому поводу...

Прогулки вокруг озера будили воспоминания о Шасте, и таким образом возникали ассоциации с Ницше — отшельником Сильс-Марии и с моей книгой. По вечерам отдыхающих развлекали киносеансами на террасе и камерной музыкой в зале. Не прошло и недели с нашего приезда в Могонк, как мы получили скорбную весть. Умер Бруно Франк. При очень больном сердце он перенес в госпитале еще и воспаление легких. Затем, по возвращении домой, однажды утром, лежа в постели, где на стеганом одеяле были разбросаны журналы, и закинув одну руку под голову, он во сне незаметно почил навеки с умиротворенным лицом, такой же счастливец в свой смертный час, каким, при всех неистовствах нашего времени, был в жизни. С болью узнав об этом, я предпочел бы предаться тихим воспоминаниям о тридцати пяти годах почти непрерывного соседства и постоянного общения с этим хорошим товарищем и проклинал должность писателя, обязывающую тебя и при таких обстоятельствах немедленно оформлять свои мысли, придумывать слова и городить фразы. Нью-йоркский «Ауфбау» настоятельно требовал некролога. В удушливо-знойное утро я справился со своей задачей, и мне все-таки была отрадна возможность отдать долг благодарности этому доброму человеку, этому счастливому поэту, этому преданному другу.

Последнее, что ему довелось написать, вводную главу к роману о Шамфоре, обещавшему, судя по такому началу, стать самым лучшим и зрелым его произведением, он отдал в тот номер «Нейе рундшау», что вышел ко дню моего рождения со множеством теплых и лестных приветствий в мой адрес и с которого этот, теперь уже исторический, журнал старого издательства С. Фишера снова начал регулярно печататься. Упомянутый номер был со мною в Могонке, и время от времени я робко заглядывал в пышные чаши его славословий. Мой зять Боргезе любит говорить о «витаминах Р», то есть «praise», похвала, и поистине сие снадобье действует очень тонизирующе, очень живительно и способно хоть как-то потешить человека даже скептического склада ума. У всех у нас есть раны, и похвала — это бальзам для них, бальзам если не целебный, то во всяком случае болеутоляющий. Однако, судя по моему опыту, наша восприимчивость к похвалам не идет ни в какое сравнение с нашей уязвимостью, когда нам в удел выпадают оскорбительные поношения, злобная хула. Даже если они совершен-

¹ Антиамериканской деятельностью (англ.).

² Расследование дела в конгрессе (англ.).

но нелепы и явно вызваны какими-то личными счетами, они, как выражение вражды, занимают нас гораздо глубже и дольше, чем их противоположность, что конечно же глупо, ибо враги — это необходимая и даже определяющая принадлежность всякой более или менее сильной индивидуальности. С другой стороны, хвала — это быстро насыщающая и быстро приедающаяся пища, она скоро вырабатывает в тебе сопротивляемость, и, стало быть, в нашем деле лучше всего вообще не слышать никаких суждений, ни добрых, ни злых, что опять-таки невозможно в условиях действенного и разнообразно волнующего умы бытия... Благо еще, если твоя персона и твоё творчество оказываются лишь случайным поводом для каких-то более высоких и общих размышлений, как это имело здесь место в лучших статьях. Служить средством развития культурно-критической или художественно-философской мысли — это не просто лестно, а — что еще важнее и лучше — почетно и объективно полезно...

Я до сих пор слышу смущенно-прелестное «Oh, really?»¹ — ответ на некие прощальные слова, сказанные перед нашим отъездом из Могонка. Синтия, девушка шестнадцати лет, проводила с родителями каникулы или часть каникул в этих мирных местах — college girl², державшаяся явно невысокого мнения о таком, хотя бы и временном, укладе жизни. Все, что он ей предоставлял, она, пожимая плечами, называла «very insignificant»³. Здесь она читала один американской «classic»⁴ под названием «The Magic Mountain»⁵, и было очень приятно смотреть, как она бродит с этой книжкой в руках, особенно когда Синтия надевала светло-красную кофточку, наряд, которому она по праву и, пожалуй, даже умышленно, оказывала предпочтение перед всеми другими, ибо он особенно шел к ее легкой фигурке. Встретить здесь виновника ее нелегкого, но зато как раз потому и возвышенного развлечения — это, конечно, сюрприз, можно даже сказать, целое приключение для юного существа, и, положив начало нашему знакомству на одном из вечерних концертов, ее добрая матушка предупредительно дала понять, что Синтия очень взволнованна. Действительно, в тот раз у девушки были довольно холодные руки, но потом, во время дружеских бесед в гостиной или на террасе, окружавшей дом наподобие палубы, они уже не были так холодны. Неужели она догадалась, что нежный восторг перед возвышенно-нелегким может найти успокоение в ответном восторге, который является данью вечно прекрасной юности и при последнем взгляде в эти карие глаза не в силах уже целиком утаить свою нежность? «Oh, really?!»

Но вот прошел и Nation-dinner⁶ в нью-йоркской гостинице Уолдорф Астория. Это была сложная церемония. Хотя место за столиком стоило двадцать пять долларов, зал оказался набит до отказа, — и не удивительно, ибо список ораторов был просто сенсационным. Выступали Фреда Кирчви, Феликс Франкфуртер из Supreme Court⁷, Негрин, Шайпер и Secretary of the Interior⁸ Айкс. Едва успев произнести свою маленькую речь, я поспешил в «Коламбия Бродкаст», чтобы там, по возможности сократив текст, прочесть ее в микрофон. Газеты поместили «editorials»⁹ об этом важном политическом торжестве. Однако для меня вдвое важнее было другое торжество, состоявшееся на следующий день в немецком кругу. Мы с Берманами, госпожой Гедвиг Фишер, Фрицем Ландсгофом, Гумпертом, Калером, Кадидией Ведекинд и Моникой поужинали в каком-то ресторане, где к нам присоединился Иоахим Маасс, а затем в

¹ Неужели? (англ.).

² Ученица колледжа (англ.).

³ Весьма незначительным (англ.).

⁴ Томик издания классиков (англ.).

⁵ Волшебная гора (англ.).

⁶ Обед Наций (англ.).

⁷ Верховного суда (англ.).

⁸ Государственный секретарь по внутренним делам (англ.).

⁹ Редакционные статьи (англ.).

нашем номере, в гостинице «Сент-Реджис», я читал этим дамам, издателям, писателям и девушкам куски из «Фаустуса»: главу с Эсмеральдой, врачей, начало разговора с чортом, то место, где «геенна огненная». Никогда подобные чтения меня так не ободряли, как в тот раз, и отчет в дневнике за следующее число полон отзвуков этого счастливого вечера.

Мы отправились в обратный путь. В Чикаго состоялось еще одно хорошо подготовленное чествование, которым я обязан тамошнему университету и лично своему доброму другу, выдающемуся физику Джеймсу Франку, и 4 июля мы возвратились домой. Нужно было сразу приняться за статью о Достоевском. Простуженный и усталый, я написал двадцать четыре страницы этой статьи за двенадцать дней и смог в последнюю треть месяца вернуться к «Фаустусу», чтобы исправить сделанное и двинуться дальше.

XI

Тогда создавались те разделы романа, которые, меня временные ракурсы, соединяя по принципу контрапункта прежнее крушение Германии со вновь надвигающейся страшной катастрофой, развертывают дальнейшие судьбы героев и других обитателей книги, девушек Родде, скрипача Швердтфегера; разделы, где все — и сочетание трагизма с гротеском, и показ конечной стадии определенного общественного уклада, давшей столь обильную пищу глумливому умствования, — призвано *accelerando*¹ нагнетать ощущение полного конца, разделы, где по сути каждое слово подводит к решающему и значительному произведению Левекюна, к его апокалиптической оратории. Я как раз закончил XXVII главу, где Адриан отправляется в морскую пучину и в «мир светил небесных» (вольное переложение народной легенды), когда «на Японию впервые были сброшены бомбы, приводимые в действие энергией расщепленных атомов урана», а через несколько дней после того, как космические силы, применение которых для неслыханных взрывов было подготовлено тайно разделенным трудом тысяч людей и обошлось в два миллиарда долларов, — через несколько дней после того, как эти силы обрушились на Хиросиму, такая же участь постигла и Нагасаки. Это была политическая эксплуатация «сокровенных тайн природы», сфер, куда, по словам поэта, не подобало проникать «сотворенному духу» — политическая потому, что применять это страшное «оружие» для победы над Японией вовсе не требовалось. Оно потребовалось только затем, чтобы предотвратить участие России в победе, и, кажется, даже Ватикан не мог согласиться с таким мотивом, ибо выразил свое беспокойство и осудил этот акт с религиозной точки зрения. Тревогу его святейшества разделяли многие, в том числе и я. И все-таки это было счастье, что Америка выиграла соревнование с нацистско-немецкой физикой.

Во всяком случае, уже в первой половине августа наметилась безоговорочная капитуляция Японии и, следовательно, конец второй мировой войны, последовавший всего лишь через шесть дней после того, как Россия объявила войну этой островной империи. В действительности, однако, ничего не кончилось, и неудержимый процесс социально-экономического и культурного изменения мира, начавшийся один человеческий век тому назад, продолжал идти по сути без всякого перерыва, суля самые невероятные повороты. В то время как мировая история, под ликованье народа, с помпой справляла один из своих мнимых праздников, меня одолевали мелкие личные дела и заботы, отвлекающе вторгавшиеся в дела и заботы, связанные с романом. Office of War Information опубликовал открытое письмо, адресованное мне немецким писателем В. фон Моло; этот документ появился в начале месяца в газете «Гессисхе пост» и по своему содержанию представлял собой горячий призыв возвратиться в Германию и

¹ В возрастающем темпе (итал.).

вновь поселиться среди народа, который давно уже находил оскорбительным для себя тот факт, что я существую на свете, и не выказал ни малейшего недовольства тем, как обошлись со мною его правители. «Придите добрым исцелителем...» На мой слух, это звучало довольно фальшиво, и дневник пытается отделаться от такой нелепой помехи уклончиво-упорным: «Работал над главой». Отвлекали и другие дела. Желая в своей трогательно-неуемной скорби об умершем супруге почтить его память торжественными церемониями, Лизель Франк решила, помимо большого, открытого траурного собрания, предварительно устроить более интимную процедуру такого же рода у нас в доме. И вот мы пригласили около двадцати человек, в том числе Фейхтвангеров и Бруно Вальтера, в нашу living-room¹, и я, сидя за своим столиком для чтения, сказал им, что сейчас, вместо того чтобы вешать головы, нужно радоваться прекрасному наследию умершего друга. Передо мною, бок о бок с моей женой, в черном платье, сидела упоенно скорбящая вдова и со слезами внимала мне, когда я читал гостям прелестный рассказ Франка «Лунные часы», а затем избранные его стихи, а затем поздние стихи Фонтане, которые мы оба любили за их искусную небрежность и часто читали друг другу наизусть. Собственно говоря, такое напряжение отнюдь не было показано моему организму. Но кто же станет беречь свои физические силы, когда дело касается покойного друга!

Лето стояло дивное, ослепительно ясное и не знойное, какое бывает только здесь, где изо дня в день дует свежий океанский бриз. Я написал XXVIII главу (конфузы барона Ридзеля) за десять дней и приступил к следующей — о браке Инесы с Гельмутом Инститорисом, слегка озабоченный сознанием, что мне все равно придется ответить, и притом весьма обстоятельно, этому фон Моло, то есть по сути — Германии. Один из вечеров у Адорно снова свел меня с Гансом Эйслером, и наша беседа все время вращалась вокруг волнующе «подходящих» тем: говорили о том, что у гомофонной музыки нечиста совесть перед контрапунктом, о Бахе-«гармонизаторе» (как назвал его Гете), о полифонии Бетховена, лишенной естественности и «худшей», чем моцартовская... Музыка царила также в хлебосольном доме миссис Уэллс в Биверли Хиллз, где блестяще одаренный пианист Якоб Гимбель (из непревзойденной и неиссякаемой восточноеврейской плеяды виртуозов) играл Бетховена и Шопена... И снова у нас гостили дети и внуки из Сан-Франциско: «Встреча с Фридо, я в восхищении... Утром с Фридо. До слез смеялся над его речами и рассеялся. Но потом писал свою главу и все-таки увлекся...» Вечером, 26 августа, в воскресенье, у нас были гости и камерная музыка: Ванденбург со своими друзьями-американцами играл трио Шуберта, Моцарта и Бетховена. Жена отвела меня в сторону и сказала, что умер Верфель. Это сообщила по телефону Лотта Вальтер. Под вечер, у себя в кабинете, просмотрев корректуру последнего издания своих стихов, он упал мертвым на пути от письменного стола к двери, и только несколько капель крови выступило в уголке его рта. Мы закончили наш маленький праздник, так и не огласив этого известия, и после ухода гостей долго еще сидели и говорили. На следующее утро мы были у Альмы. Там мы застали Арльтов, Нейманов, мадам Массари, Вальтеров и других. Лизель Франк как раз уезжала, когда мы подъехали. «Хороший год, не правда ли?» — сказала она горько... Видно было, что она слегка уязвлена уроном, который нанесла эта смерть ее собственному горю. И действительно, разве в смерти художника, в его увековечении, в его уходе в бессмертие нет какого-то элемента апофеоза, элемента, который близким покойного хочется оградить от какой бы то ни было конкуренции?

В панихиде по Франке я не смог участвовать; на панихиде по Верфеле, 29-го, мы присутствовали. Она состоялась в часовне похоронного бюро, в Биверли-Хиллз. Было огромное количество цветов, и на многолюдное траурное собрание пришло немало музыкантов и писателей. Отсутствовала только вдова, вдова Малера, а теперь — Вер-

¹ Гостиную (англ.).

феля. «Я никогда не хожу на похороны», — сказала эта великолепная дама; такая непосредственность показалась мне настолько забавной, что я даже не знал, от чего — от смеха или от рыданий — у меня разрывалась грудь, когда я стоял у гроба. В соседнем маленьком зале, под аккомпанемент Вальтера, пела Лотта Леман. Надгробная речь аббата Мениуса, ко все большему замешательству органиста, сыгравшего к ней прелюдию, долго не начиналась, потому что в последний момент Альма пожелала тщательно проверить текст. Мениус выступал не как представитель церкви, а как друг верфелевского дома, но в его речи, цитировавшей вместо библии Данте, были все приметы католической культуры. Картина этого обряда, самая идея его крайне меня потрясли, и затем, уже на улице, здороваясь с друзьями и знакомыми, я замечал по их лицам, что они испуганы моим видом.

«Долго работал» — гласит запись следующего дня. Здесь подразумевался роман, но уже нельзя было больше откладывать письмо в Германию, ответ на запрос писателя фон Моло, и хотя я взялся за это дело с неохотой, у меня и теперь, как тогда, когда я писал из Цюриха письмо Боннскому факультету, просилось на бумагу множество мыслей, каковым, однако, на сей раз мне удалось придать прочно документальную форму. К стыду моему, на сочинение этой реплики мне потребовалось как-никак восемь дней: ибо, хотя я закончил ее уже на пятый день, при проверочном чтении выяснилось, что необходимо заново написать конец, собственно говоря — всю вторую половину; еще день ушел на «вялые наброски», еще один — на новое окончание, а на третий день (после пятого) в дневнике записано: «Право же, еще раз». Но, так или иначе, ответ был написан — в гуманном тоне, как мне казалось, в тоне мирном и утешительно ободряющем под конец, как я пытался себя убедить, хотя мог быть уверен заранее, что на родине услышат прежде всего только мое «нет» — и письмо ушло в Германию, в нью-йоркский «Ауфбау» и в Office of War Information.

«Перечитывал текущую главу. Наконец-то продолжил ее». Тогда мне попала одна старая книжка: «Сказание о Фаусте. Народные книги, народный театр, кукольные действия, власть ада и волшебные книги» И. Шейбле, Штуттгарт, 1847, издано на средства составителя. Это — пухлая антология всех существующих версий популярного фаустовского сюжета и самых разнообразных ученых рассуждений о нем, содержащая, к примеру, статью Герреса о волшебном сказании, о заклинании духов, о сделке с нечистым из его «Христианской мистики» и весьма любопытный раздел из вышедшего в 1836 году труда доктора Карла Розенкранца «Кальдеронова трагедия о маге-чудодее. К изучению легенды о Фаусте», где приводится следующая выдержка из лекций Франца Баадера по религиозной философии: «Истинный диавол должен нести в себе предельную охлажденность. Он должен... нести в себе высшую удовлетворенность самим собой, крайнее безразличие, самоупоенное отрицание. Нельзя не согласиться, что подобное оцепенение в пустой самоуверенности, исключаяющей какое бы то ни было содержание вне этого самодовольства, есть совершенный нигилизм, лишенный всяких живых черт, если не считать обостреннейшего эгоизма... Но именно в силу этой ледяной холодности невозможно было бы дать поэтическое изображение дьявольского начала. Здесь нельзя целиком освободиться от пафоса, да и для действия надобно какое-то участие в нем сатаны, отчего последний и предстает в глумлении над действительностью...» Все это в немалой степени меня касалось, и вообще я усиленно читал эту старую книжицу в картонном переплете. Кроме того, я снова, и очень сосредоточенно, занялся Адальбертом Штифтером. Я перечитал его «Старого холостяка», «Авдия», «Известняк», показавшийся мне «неописуемо самобытным и полным неброской отваги» произведением, и такие поразительные места, как градобой и пожар в «Повести о смуглой девочке». Часто подчеркивали противоречие между кроваво-самоубийственным концом Штифтера и благородной умиротворенностью его поэтического творчества. Но куда реже замечали, что за спокойной,

вдумчивой пристальностью, столь характерной для его видения природы, как раз и кроется то тяготение ко всему экстраординарному, первоначально-катастрофическому, к патологии, которое, внушая тревогу, дает о себе знать, например, в незабываемом описании бесконечного снегопада в Баварском лесу, в знаменитой засухе в «Глухой деревне», а также в произведениях, названных ранее. Родство с грозой девочки из «Авдия», ее обида за молнию тоже входит в эту жуткую сферу. Разве можно найти что-либо подобное у Готфрида Келлера? А ведь с его юмором на редкость созвучна такая повесть, как «Лесная тропинка». Штифтер — один из самых замечательных, сложных, подспудно-смелых и поразительно занятных повествователей в мировой литературе, он далеко не достаточно изучен критикой...

Тогда я, как последний дурак, огорчился из-за грубой и грязной брани некоего Ц. Барта в нью-йоркской газете «Нейе Дейтше Фольксцейтунг», а одновременно через О. W. I.¹ получила распространение лживая и наглая статья Франка Тиса из «Мюнхенер цейтунг», документ, с величайшей претенциозностью заявлявший о существовании так называемой «внутренней эмиграции», содружества интеллигентов, которые «сохраняли верность Германии», «не оставляли ее в беде», не «наблюдали за судьбой отечества из удобных лож заграницы», а честно ее разделяли. Они бы честно ее разделяли, даже если бы Гитлер победил. Однако печка, за которой они отсиживались, рухнула, и, считая это своей великой заслугой, они теперь всячески поносили тех, кому пришлось хлебнуть воздуха чужбины и кому на долю так часто выпадала гибель и нищета. Между тем даже в самой Германии Тис был жестоко разоблачен опубликованием одного его интервью 33-го года, где он восторженно отзывался о Гитлере, так что воинство лишилось теперь своего командира. Невежественная брань по моему личному адресу, раздававшаяся со страниц третьеразрядных немецко-американских газетенок, была тяжким испытанием для моих нервов. Репатриированные эмигранты всячески поносили меня в немецкой прессе. «От нападок, от вранья, от глупостей, — признается дневник, — устаешь как от тяжелой работы».

Однако иное вознаграждало меня и ободряло. Большая статья в «Нувель литерэр», где на редкость тонко были оценены громадный труд, который проделала Луиза Сервисан, осуществив перевод «Лотты в Веймаре», и роман как таковой, обрадовали меня гораздо больше, чем огорчили упомянутые неприятности. Эрика прислала мне этот номер из Мондорфа (Люксембург) вместе с описанием своего посещения нацистских главарей, временно содержащихся там в ожидании суда в какой-то полугостинице-полутюрьме. Когда эти низвергнутые страшилища узнали, кто такая американская военная корреспондентка, у них побывавшая, волнение их выразилось в самых различных градациях, от бешеной ярости до сожаления, что не пришлось с ней толком поговорить. «Я бы ей все объяснил! — воскликнул Геринг. — Вопрос о Манне был решен неверно. Я бы поступил иначе!» Интересно, как же? Разумеется, он предложил бы нам замок, миллионный капитал и по бриллиантовому перстню на брата, если бы мы поладили с Третьей империей. Ну что ж, пропади пропадом, веселый душегуб! Ты по крайней мере наслаждался жизнью, в то время как твой господин и наставник нигде никогда и не жил, кроме как в аду.

Почти одновременно я получил интересную статью Георга Лукача, помещенную к моему семидесятилетию в «Интернациональной литературе». Этот коммунист, дорожающий «буржуазным наследием» и умеющий увлекательно, с большим пониманием дела писать о Раабе, Келлере или Фонтане, уже в своей серии очерков о немецкой литературе эпохи империализма отзывался обо мне очень умно и лестно, обнаружив необходимую всякому критику способность различать между мнением писателя и его бытием (или рожденной бытием деятельностью) и принимать за чистую монету не первое, а только второе. Мнения, которых я держался, когда мне было сорок лет,

¹ Office of War Information.

не помешали ему самым решительным образом сопоставить меня с моим братом и написать: «Ибо «Верноподданного» Генриха Манна и «Смерть в Венеции», Томаса Манна можно уже считать знаменательными предтечами этой тенденции, сигнализирувавшими о преисподней варварства, как естественном производном современной немецкой цивилизации». Этими словами предвосхищено даже соотношение между упомянутой венецианской новеллой и «Фаустусом». И это очень хорошо потому, что понятие «сигнализировать» имеет первостепенное значение во всей мировой литературе и в познании литературы. Поэт (да и философ) как индикатор, как сейсмограф, как восприимчивый посредник, не обладающий ясным сознанием этой своей органической функции и потому сплошь да рядом способный к превратным суждениям, — такая точка зрения представляется мне единственно верной... Это новое юбилейное эссе «В поисках бюргера», будучи беспрецедентным по своей широте разбором моей жизни и деятельности, вызывал у меня глубокую благодарность, в частности, и потому, что критик не только рассматривал мое творчество «исторически», но и связывал его с будущностью Германии. Странно только, что при самых доброжелательных оценках его критическая сфера последовательно опускает, обходит «Иосифа». Причиной тому косность и слишком уж общие соображения: «Иосиф» — это «миф», а стало быть, увертка и контрреволюция. Жаль. И вдобавок это совсем неверно. Но так как католическая церковь тоже терпеть не может «Иосифа» за его релятивистское отношение к христианству, моя книга вынуждена довольствоваться обществом гуманистов, смело одобряющих то сочувствие всему человеческому, которое и составляет светлую душу этого произведения...

Не следует, впрочем, думать, будто все доброе и отрадное приходило ко мне только из немецкого мира. Клаус писал мне из Рима, что в Берлине он повсюду видел афиши, сообщавшие о лекциях об «Иосифе» и чтении из «Лотты». Мне говорили, что по новому немецкому радио передаются различные мои работы. Лагерная газета военнопленных «Дер Руф» (выходящая ныне в Мюнхене) напечатала приветливо-дружелюбную статью обо мне. Вопреки Тису и компании, мое имя сочувственно упоминалось в немецких газетах. Одним словом, если уж осуждение не было единодушным, то разве можно было ждать единодушного одобрения? Всегда приходится черпать спокойствие в старинном изречении, которое я еще в юности прочел на одном из фронтонов Любека: «На всех не угодишь». Да ведь и вся суть не в том, чтобы кому-то угодить, а в общем итоге твоих действий, в который в конце-то концов оформляются все недоразумения, споры и муки. Правда, такое оформление есть нечто весьма близкое к смерти или даже происходящее после нее. Жизнь — это мучение, и только покуда мы страдаем, мы и живем...

Теперь стали приходиться письма от старых друзей, ибо Германия снова открылась миру: от Преториуса, от Рейзигера, из более молодых — от Зискинда; ничего не давал о себе знать Эрнст Бертрам, о котором я не раз справлялся, но получал в лучшем случае полууспокоительные ответы. Приходили письма и от тех, кого мы уже привыкли считать зловещими фигурами и кому, хотя они сами утверждали противное, не так-то легко было ответить, — например, от Кирхнера из «Франкфуртер цейтунг» и Блунка, бывшего президента гитлеровской имперской палаты по делам прессы! Кроме того, из Германии поступало множество писем, авторы которых, жалуясь мне на победителей, не желающих отличать козлиц от агнцев и стригущих всех немцев под одну гребенку, умоляли меня пустить в ход мое огромное влияние и немедленно изменить существующее положение.

«Вооружившись старыми дневниками, занялся дальнейшим ходом романа (начало войны). Усердно писал ХХХ... Ночью нездоровилось, озноб, возбуждение, простуда, нарушен сон. Ощущение приближающейся болезни... Английский вариант «Письма в Германию» для «Лондон ньюс кроникл»... Несколько часов за письмами...

«Марионетки» Клейста. Книга Франка Гарриса о Шекспире. Беседовал с К. о неистовстве этого года; какой-то град потрясений, среди них — множество смертей: теперь еще Бела Барток, Рода-Рода, Беер-Гофман и Сибрук, который покончил с собой. Ничего не было бы удивительного, даже если бы я еще больше устал. Но интерес к роману оживился за эти дни. Смущает нероманность, странно реальная и все-таки выдуманная биографичность. Заблаговременно забочусь о далеких разделах, хотя немало трудностей гораздо ближе: написал Вальтеру в Нью-Йорк и попросил его предоставить мне во временное пользование мое письмо о Фридо, имея в виду Непомука Шнейдевейна... Речь, посвященную памяти Франка, закончил к вечеру».

Да, теперь настал ее черед, этой чаши, этой жертвы, принесенной мною, правда охотно, но все-таки с тихим ропотом на столь безжалостную настойчивость. Траурное заседание состоялось 29 сентября в голливудском Плей-Хаузе. Большой зал был полон, собралась вся «Германская Калифорния». Мой брат, хоть он и редко выходит из дому, в этот раз тоже был с нами. Выступали декламаторы, опытные чтецы, которым, однако, не удавалось справиться с некоторыми акустическими неудобствами, так что публика, сидевшая в дальних рядах, то и дело досаждала им несносным возгласом «громче!». Далее последовали отрывочные, слишком отрывочные сцены из чудесной комедии «Буря в стакане воды». Я говорил последним, перед фортепьянной концовкой — с напряжением, предельно измученный, от всей души. По мнению Генриха, это было волнующе, слишком волнующе. На следующий день, по телефону, Лизель Франк сказала, что на такие церемонии, как вчерашняя, меня вообще не следует звать, что я отдаю им слишком много сил и что это был, конечно, последний подобный случай... А что, если теперь состоится вечер, посвященный памяти Франца Верфеля?

Я занимался XXXI главой, где речь идет о конце войны, об «услужливых женщинах» и об обращении Адриана к кукольной опере, а «по вечерам подолгу читал «Gesta Romanorum». Самая прекрасная и самая поразительная из этих историй — рассказ о рождении святейшего папы Григория. Он избран папой благодаря тому, что рожден плотской связью брата с сестрой и сотворил кровосмесительный грех с собственной матерью, что, впрочем, искупил невероятным семнадцатилетним мученичеством на пустынной скале. Крайняя греховность, крайнее раскаяние — только такое чередование ведет к святости...» Я ничего не знал о многочисленных разновидностях этой легенды и, в частности, не имел представления о средневерхненемецкой поэме Гартмана фон Ауэ. Но легенда мне настолько понравилась, что у меня тотчас же зародилась мысль когда-нибудь отнять этот сюжет у моего героя и самому сделать из него маленький архаический роман.

9 ноября была начата, а через двадцать дней закончена XXXII глава, содержащая томительный разговор между Инесой и Цейтбломом. Сразу же стал готовиться к следующей, которая, имея дело снова с «двумя временными планами», должна была ввести мотив русалочки и сочувственно раскрыть эльфически-кокетливую натуру Швердтфегера. Однако состояние здоровья, сильный насморк и кашель, обострившийся катар дыхательных путей и скверный вид снова заставили меня обратиться к врачу, и результат этой консультации вполне соответствовал моим собственным ощущениям: были установлены дальнейшее уменьшение веса, скопление мокроты в бронхах, пониженное кровяное давление и прописаны лекарства, усиливающие питание организма. Итак, снова за роман, вооружившись большими красными капсулами с витаминами, глотать которые трижды в день было весьма трудно. В декабре я начал разрабатывать XXXIII главу, ободренный сознанием, что никакая серьезная опасность мне не грозит и что мое сердце снова оказалось совершенно здоровым. Вот только плохо было, что как раз теперь, когда с каждым днем на меня все явственнее надвигалась самая трудная из задач — убедительное, достоверное, прямо-таки иллюзорно-реалистическое описание апокалипсической оратории Левекюна, которое нельзя было дать иначе,

как в серии из трех глав, ибо я сразу решил ввести в анализ этого злосчастного эсхатологического опуса картину до ужаса сходных переживаний доброго Серенуса (архифашистские беседы у Кридвиса), — плохо было, что как раз теперь этот вечный катар в дыхательном горле и бронхах так сокращал, а подчас и совсем истощал мои силы. Не очень хорошо было и то, что снова и снова приходилось лично участвовать во всяких официальных заседаниях. В Ройс-Холле, Уэствуд, в присутствии представителей русского консульства, я прочитал в виде доклада специально для этого переделанную статью о Достоевском, вызвав, к своему удовольствию, особый интерес к ней у Клеппера, который тоже там был. В роли застольного оратора мне пришлось также выступить на банкете Independent Citizen Committee ¹, куда входили профессора Шепли и Дайкстра, миссис Дуглас-Гахаген из House of Representatives ² и полковник Карлсон. Гвоздем вечера оказалась речь либерального (ныне уже умершего в генеральском чине) colonel'я ³, с большим мужеством бичевавшего злоупотребления наших войск в Китае, где им решительно нечего было искать, тем более что единственная часть этой страны, где был порядок, управлялась по-коммунистически... Как непохожи на этот банкет по-своему любопытные вечерние приемы у отпрыска Гогенцоллернов графа Остгейма, на которые нас иногда приглашали — у этого веймарского престолонаследника, заблаговременно лишённого права на трон за антимилиитаризм и другие дисквалифицирующие убеждения — у него и у его жены, американки. Там можно было найти разношерстное интернациональное общество и услышать от высокородных русских белоэмигрантов утверждения насчет возможности соглашения со сталинским правительством об их выдаче. Как бы там ни было, я не в состоянии поверить, что кто-либо в Москве считает этих господ опасными. Но, собственно говоря, как они попали в салон «красного принца»? Впрочем, это как раз можно понять. Изгнание объединяет, и различие причин, его вызвавших, не очень существенно. Будь то «краснота» или ее прямая противоположность — общность судеб и классовая солидарность оказываются важнее, чем оттенки в убеждениях, и так-то вот люди и сходятся...

«Продолжал главу». «Кое-что прибавил к главе». «Подхожу к концу XXXIII». 27 декабря: «Закончил XXXIII. — Читал вслух. — Возможно, что из-за своей усталости я все-таки слишком критически отношусь ко всему сделанному. Читал апокалипсис, задет за живое словами: «Ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего».

XII

Уже в начале декабря я принял и выполнил одно решение — вручить Адорно отпечатанную на машинке копию всего до сих пор написанного, чтобы дать ему полное представление о «Фаустусе», познакомить его с моими замыслами и призвать на помощь его воображение при работе над предстоящими мне музыкальными главами. Затем, в конце года, вместо обычного утреннего урока я написал ему на десяти страницах объяснительное письмо, где прежде всего попытался оправдать свои «опасно-неопасные» посягательства на его философию музыки: они допущены, писал я, в надежде, что все эти заимствования, все эти реминисценции приобретут в контексте моего сочинения какую-то самостоятельную роль, заживут какой-то символической собственной жизнью, нисколько не вредя своему критическому первоисточнику. Далее я говорил ему о том, как нужны мне будут при моем «посвященном невежестве» точные профессиональные знания для предстоящей работы. «Роман, — писал я, — дошел до того места, где Леверкюн, тридцати пяти лет, в приливе эвфорического вдохновения,

¹ Комитет независимых граждан (англ.).

² Палата представителей (англ.).

³ Полковника (англ.).

в устрашающе короткий срок, создает свое главное или, вернее, свое первое главное произведение, «Aposcalypsis cum figuris»¹, отправляясь от пятнадцати гравюр Дюрера или даже непосредственно от текста Иоаннова откровения. Здесь требуется с известной убедительностью выдумать, наделить реальными чертами, охарактеризовать какой-то музыкальный опус (он представляется мне очень «немецким» произведением, ораторией с оркестром, хорами, солистами и чтецом), и сейчас, посылая Вам это письмо, я, собственно, не отступаю от дела, взяться за которое у меня еще не хватает смелости. Мне нужно несколько конкретных, мнимо-реальных деталей (можно обойтись очень немногими), способных дать читателю какую-то ясную, более того — убедительную картину. Не согласились бы Вы вместе со мною поразмыслить над тем, как вдохнуть жизнь в это произведение — я имею в виду произведение Левверкюна, — как написали бы его Вы, если бы Вы состояли в сделке с чортом, и сообщить мне те или иные музыкальные приметы, создающие необходимую иллюзию? Мне видится нечто сатанинско-религиозное, демонически-благочестивое, но в то же время нечто очень строгое, слаженное и прямо-таки преступное, порою даже какое-то глумление над искусством, возврат к примитивно-элементарному (ассоциация с Кречмаром — Бейселем), отказ от деления на такты, даже от организованной последовательности звуков (глиссандо тромбонов); нечто едва ли практически осуществимое: старинные церковные лады, нетемперированные хоры a-capella, ни один звук или интервал которых вообще недоступен фортепьяно — и так далее. Но легко сказать «и так далее»...

Эти нетемперированные хоры были моей нелепо-навязчивой идеей, и я за нее упрямо держался, хотя мой консультант и слышать о ней не хотел. Я так пленился своей выдумкой, что тайком от Адорно посоветовался по этому поводу с Шенбергом, который ответил: «Я бы не стал этого делать. Но теоретически это вполне возможно». Несмотря на такое разрешение самой высшей инстанции, я в конце концов все-таки отказался от своей затеи. Равным образом, я сохранил деление на такты, придав, однако, этому завоеванию культуры иронический смысл. Зато я выпятил варварское начало инструментальных и вокальных глиссандо.

Сначала, впрочем, было еще одно рождество, дождливое рождество, когда у нас гостило маленькое семейство из Сан-Франциско — Милл Воллей, и мы, из-за отсутствия елочных украшений, в канун праздника разрезали на узкие полоски скопившуюся у нас фольгу, чтобы порадовать мальчишек. «Встреча с Фридо — я был счастлив». Во время праздников я еще писал XXXIII главу, куда дополнительно вставил странно обстоятельные рассуждения Адриана о красоте и реальности русалок и которую закончил в самые последние дни года. На нее ушло двадцать семь дней. Адорно сообщил мне, что он все прочитал и сделал кое-какие заметки для обсуждения... «Правил главу. Страшно устал на прогулке, весь остаток дня чувствовал какую-то сонливость и слабость, но уснуть не удалось. Принял доктора Шифа. (Дотоле я пользовался услугами доктора Вольфа, но при таких недомоганиях, как у меня, обычно не раз меняют врачей; впоследствии пришла еще очередь доктора Розенталя, врача моего брата.) Он установил катар дыхательного горла и воспаление лобных пазух, предположительно инфекционное, и прописал всякие успокаивающие, смягчающие и тонизирующие средства». Так записано в дневнике. Ну что ж, жара у меня не было, я был не болен, а только полуболен, и поэтому я придерживался своего обычного режима, этого привычного чередования работы, чтения, прогулок к морю, писем, диктуемых на машинку, и писем, собственноручно написанных. «Почему все, кто хочет иммигрировать или ищет job², обращаются ко мне!» Но это ведомо одному лишь Господу Богу... Подготовка к трехчастной XXXIV главе началась сразу же с новым, 1946 годом, он открывается в моем дневнике записью, относящейся ко всему «Фаустусу» в целом и сделан-

¹ «Апокалипсис с иллюстрациями» (лат.).

² Работы (англ.).

ной по поводу «Мемуаров» Макса Осборна, к которым автор попросил меня написать предисловие. Я читал в этой книге о Менцеле, Либермане, Клингере, Лессере-Ури, Боде, о людях хрестоматийно-образцовых. «Все как один — личности! Кажется, о себе я этого не могу сказать. Меня будут так же редко вспоминать, как, например, Пруста». И вдруг: «Как много в «Фаустусе» от моего умонастроения! По сути, это — не что иное, как самая откровенная исповедь. Вот почему эта книга с самого начала оказалась для меня такой встряской».

В один из следующих дней, под вечер, я побывал у Адорно. Он и его жена одновременно прочли мою рукопись, передавая друг другу листки, и я, исполненный сомнений, с жадностью слушал их рассказ о том, с каким интересом, увлечением, волнением они ее читали. То, что автор «Философии современной музыки» благосклонно отнесся к историко-критическим аперсу¹, которыми мой враждебный творчеству чорт, пользуясь выражением Адриана, «примазывается к искусству», было большим облегчением для моей совести. Наедине с Адорно, в его кабинете, я услышал от него много справедливых и умных замечаний о величии и трудности этого замысла. Часть написанного была ему знакома благодаря моим чтениям, но многое открылось впервые, и он особенно отметил «гуманность», проявившуюся в разделе об услужливых женщинах, и «опыт», сказавшийся в страстных саморазоблачениях Инесы Родде перед «добрым», не вызывающим эмоций Серенусом. Его не очень привлекала идея, с которой я давно уже прочно сжился — построить ораторию на дюреровских иллюстрациях к апокалипсису, и мы сошлись на том, что внутренняя сфера этого произведения будет по возможности расширена общими эсхатологическими мотивами и, вобрав в себя всю «апокалипсическую культуру», явится своего рода квинтэссенцией всех предвещаний конца. Об этом я и раньше подумывал, ибо в апокалипсисе Иоанна с Патмоса имеются явные заимствования из других экстатических видений, и мне казалось соблазнительным подчеркнуть то психологически любопытное обстоятельство, что в данной сфере издавна существует преемственность, традиция, наделяющая одержимых уже сложившимися образами и эмоциями, что, как сказано в тексте, «налицо известная повторяемость наитий прошлого, несамостоятельность, заимствованность, шаблонность исступлений». Я знал, почему меня так занимал этот феномен. Тут было некое совпадение с моей собственной и, как я выяснил, отнюдь не сугубо индивидуальной склонностью видеть во всяком проявлении жизни продукт культуры и сколок мифа и предпочитать цитату «самостоятельному» сочинению. «Фаустус» дает немало тому свидетельств.

В тот раз Адорно еще не подготовил музыкальных советов и указаний по поводу опуса Леверкюна, но он заверил меня, что усиленно этим занимается, что у него уже появились кое-какие идеи и что он вскоре поделится ими со мной. Если бы я не рассказал о том, как он сдержал свое слово, эти воспоминания были бы очень неполными. В последующие недели я не раз сиживал у него за рюмкой хорошей домашней наливки и, вооружившись блокнотом и карандашом, быстро, с полуслова, фиксировал поправки и уточнения к прежним музыкальным разделам и отличительные подробности оратории, им намеченные. Досконально вникнув в общий замысел книги и в частные задачи этой главы, он всеми своими советами и предложениями добивался самого существенного — описать ораторию так, чтобы ее действительно можно было осудить и за кровавое варварство, и за бескровную интеллектуальность.

Подготовка к столь важному разделу, включавшая в себя чтение Данте, изучение апокрифов и любезно предоставленных в мое распоряжение различных трудов об антично-христианских эсхатологических учениях и апокалиптике, продолжалось долго. Я начал писать его в середине января. 46-го года и отдавал ему все свои силы до начала марта, то есть в течение полутора месяцев — а это не такой уж большой срок, если

¹ Суждениям (франц.).

принять во внимание, что силы мои всё убывали и в дневнике множились скудные заметки о головной боли, о кашле по ночам, об истощении нервной системы, об «абсурдной» усталости. К тому же всегда было много каких-то дополнительных неотложных дел и обязанностей: то нужно было выступить на митинге, посвященном «Defense of Academic Freedom»¹, то продиктовать радиоречь ко дню рождения Рузвельта; к этому же времени относится «Рассказ о моем брате» — работа, приятная для меня и документально важная. В отрадных впечатлениях, способных вывести меня из состояния вялости, не было недостатка... В Гетеборге (Швеция) вышла книга Кэте Гамбургер об «Иосифе и его братьях» — обстоятельный филологический комментарий, читая который я прямо-таки с завистью вспоминал годы этой веселой мифологической игры, почти невозможной, совсем невозможной в теперешнем моем зловещем творении. Я корил его за неэпичность, за отсутствие юмора, за безрадостность, за художественную бесталанность. И все-таки на него откликнулись, все-таки я услышал голоса первых читателей незавершенного романа, утешительные голоса, взволновавшие меня в своем письменном воплощении гораздо больше, чем всякие устные похвалы, которые, надо признать, тоже уже выпадали на мою долю. В Принстоне Эрих Калер, оказывается, брал по кускам у переводчицы Элен Лоу-Портер имевшуюся у нее порцию машинописного текста, и уже теперь этот человек, ставший впоследствии автором великолепного аналитического очерка о моей книге, озаглавленного «Секуляризация черта», написал мне о прочитанном им фрагменте в таком тоне, что счастье мое было пропорционально всем заботам и сомнениям, которые уготовил мне этот мучительный опус. На сей раз мне написала и сама Лоу-Портер, преданная моя переводчица, обычно из чистой скромности очень сдержанная в высказываниях о порученной ей работе. «I strongly feel, — писала она, — that in this book you will have given your utmost to the German people»².

К чему же еще мы всегда стремились, как не к тому, чтобы отдать все до конца? Все, что смеет называться искусством, свидетельствует об этой воле к предельному усилию, об этой решимости идти до границы возможностей, носит на себе печать, носит на себе кровавые приметы такого «utmost»³. Именно этим, волей к беззаветно-отчаянной авантюре, покорила меня посмертный утопический роман Верфеля «Звезда нерожденных», который я теперь читал. Переводчик, Густав Арльт, дал мне машинопись оригинала. Одну из глав романа, о гимнастическом полете учеников хронософского класса в межпланетное пространство, покойный, желая сделать мне подарок ко дню рождения, отдал в июньский номер «Нейе рундшау». Она заканчивается мистическим парадоксом, что какая-то величина может превосходить по величине самое себя, что энергия какого-то светила может быть больше себя самой и что отсюда происходит всякое чудо, всякая любовная жертва, всякое саморазрушение «через глорификацию». Нравственно-поэтическая сторона этой мысли (если это можно назвать мыслью) удивительно меня тогда взволновала, и Верфель сказал мне, что он умышленно выбрал эту главу для меня. Такой же трансцендентностью отличался, как мне теперь показалось, и весь роман, написанный как бы после смерти автора и без участия сердца, целиком спиритическое произведение, смелость которого по сути уже не имеет никакого отношения к жизни и в художественном плане не удавшееся. В облике, в речи, в психологии этих людей, живущих через сотни тысяч лет после нас на сверхдухотворенной и технически сверхоснащенной земле, есть что-то — повторяю — спиритически пустое и выхолощенное, и некоторые совершенно невообразимые изобретения, призванные показать эту бесконечно далекую земную жизнь, например звездная световая реклама или путешествия без передвижения, а с помощью

¹ Защите академических свобод (англ.).

² Я отчетливо ощущаю, что в этой книге вы хотите отдать немецкому народу все до конца (англ.).

³ Здесь — воздаяния (англ.).

некоего инструмента, технически-спиритуальным способом, напоминают причудливые выдумки сна, которые, пока спишь, кажутся превосходными и полезными, но, как только проснешься, представляются сущим вздором. По-видимому, здесь не суждено было наступить критическому пробуждению, и если бы не отдельные юмористические места этой книги, например о простодушно-неправильной речи собак, всегда говорящих «ихний» вместо «их», читатель, наверно заскучав, отвернулся бы от ее уже не живых страниц. И все-таки в этом сверхсмелом эпосе смерти встречаются чудесные колдовские озарения, несравненные находки, плоды уже сбившегося с пути, но именно потому гениального воображения. Гротескно-жуткие сцены и приключения в преисподней, внутри полого шара земли, с ее душной, гнетущей атмосферой, по силе фантазии не имеют себе равных в литературе, а ведь это произведение странно привлекало, волновало и впечатляло меня именно своими тайными связями с мировой литературой, тем, что оно, пусть на свой лад, пусть косвенно, но все-таки продолжало какие-то традиции, будучи явно «романом о путешествии». Поэтому оно напоминает и как бы включает в себя Дефо, а также Свифта и Данте, последнего — с особенной настойчивостью, но с наименьшей выгодой для себя, ибо, в отличие от Данте, все-таки лишено подлинной выразительности... Я читал эту книгу дважды, второй раз — «с карандашом» и подумывал о том, чтобы прочесть о ней лекцию. Но из этого так ничего и не вышло.

2 февраля в лос-анжелосской филармонии давал концерт Губерман. Мы не испугались долгой езды и слушали, как этот безобразный маленький чародей, в котором было что-то от обольстительного демонизма Фидлера, играл Бетховена, Баха (чаконну, добиваясь от своей скрипки прихотливо-органного звучания), очень приятную сонату Цезаря Франка и еще какие-то цыганские мелодии в придачу. Затем мы были у него в артистической уборной, битком набитой людьми. Он просиял, когда нас увидел. Давнишнее знакомство и давнишняя приязнь друг к другу поддерживались нашими встречами в Мюнхене, Зальцбурге, Цюрихе, Гааге (где мы вместе жили в доме германского посла) и Нью-Йорке. 5-го числа он был у нас на званом обеде и пригласил нас погостить у него на даче вблизи Вева, когда мы, как предполагалось, приедем в Европу. Его уже не было в живых, когда мы вернулись в Швейцарию...

Другим нашим достопамятным гостем был канадский фотограф-художник Карш, тот самый, который создал знаменитый портрет Черчилля с задумчиво-ехидной улыбкой. Черчилль уделил фотографу пять минут, и Карш хвастался, что заставил его на этот срок расстаться с сигарой. У меня он мог устроиться удобнее. Вооружившись мощной осветительной аппаратурой, то и дело вызывавшей короткое замыкание, он работал со мной около двух часов над серией снимков, некоторые из коих, благодаря удачно схваченному «сходству» и пластическим световым эффектам, действительно оказались не только самыми совершенными моими изображениями, но и самыми совершенными фотографиями, какие мне когда-либо случалось видеть. Жаль только, что, позируя, я был тогда в такой скверной форме и что на этих вообще-то несравненных портретах запечатлелись бледность лица и саркастическая «одухотворенность», не очень соответствующие действительности.

Фотографические эксперименты более серьезного рода, рентгеновские снимки моих легких, обнаружили в этом органе какое-то «потемнение», о котором доктор сказал, что за ним полезно было бы наблюдать и впредь. Пока что он рекомендовал мне полечить носоглотку у врача по фамилии Манчик, французского поляка, очень искусного специалиста, каковой и сделал все возможное, чтобы смягчить симптомы, носившие, как это все яснее вырисовывалось, вторичный характер. У меня давно уже, хотя я не до конца в этом себе признавался, во второй половине дня и по вечерам немного повышалась температура; повысилась она и в тот вечер, когда я, закончив ораторию, отправился вместе с братом на концерт чтеца Эрнста Дейча в студию Уо-

рнера. Я уже пропустил одно аналогичное выступление этого выдающегося актера и образцового декламатора и на сей раз никак не мог не принять его сердечного письменного приглашения. На концерте было много знакомых, и я от души радовался этому вечеру, находясь в том особом, полувялом-полуприподнятом состоянии, какое бывает при небольшом жаре. Я поздно лег — и несколько дней не вставал с постели, ибо к ней меня приковало гриппозное заболевание, ежевечерне поднимавшее температуру до 39°. Пенициллиновые таблетки, которые я в течение суток принимал через каждые три часа, не оказали вообще никакого действия. Гораздо больше помогала смесь эмпирина с кодеином. Я много спал, даже днем, и немало читал, главным образом Ницше, ибо лекция о нем должна была быть моей ближайшей работой. Затем наступили дни, проведенные в дремоте и чтении, когда я, несколько оправившись, но при все еще подсакивающей температуре, начал вставать с постели и только по утрам соблюдал постельный режим. В эти дни в ООН разыгрался кризис из-за Ирана, а также в связи с англо-американским военным союзом — этой черчиллевской затеей, вызвавшей словесную дуэль между ним и Сталиным. Черчилль говорил довольно элегантно, Сталин резко, и, на мой взгляд, оба не были неправы. Впрочем так всегда и бывает, и лишь однажды в жизни, себе в назидание, мне случилось испытать иное. У Гитлера было одно особое качество: он упрощал чувства, вызывая непоколебимое «нет», ясную и смертельную ненависть. Годы борьбы против него были в нравственном отношении благотворной эпохой.

Неопределенное состояние полувыздоровления, осложняемого рецидивами жара, продолжалось. Я стал ненадолго выходить и выезжать из дому, но это не помогало, и как раз мой любимый морской бриз оказывал на меня вредное действие. За чаем я сидел с гостями, но потом жена, качая головой, приносила оставленный наверху термометр, который снова показывал больше 38, и отправляла меня в постель. Я усердно перечитывал Ницше, особенно его труды начала семидесятых годов, а также «Пользу и вред истории», и делал заметки. Семидесятипятилетие моего брата мы отметили небольшим вечерним приемом, и мне вспоминается наша с ним оживленная беседа о предмете моего доклада. По его желанию, за мое лечение взялся тогда доктор Фридрих Розенталь. Применяв местное переливание крови и не получив ожидаемого результата, он прописал мне эмпирин с беллергалом, чтобы сбить температуру. Тем временем он затребовал последние рентгеновские снимки легких, и ему открылась ясная картина инфильтрации в правой нижней легочной доле. Он настоятельно рекомендовал обратиться к специалисту; таковым оказался американец, который после осмотра подтвердил заключение доктора Розенталя, предложил сделать бронхоскопическое исследование абсцесса и уже намекнул на необходимость операции. Я был скорее поражен, чем испуган, ибо никогда не ждал никакой опасности со стороны дыхательных органов, да и врачи единодушно заверяли меня, что о туберкулезном процессе не может быть речи. «Это открытие, — писал я, — объясняет многое в моем состоянии последних месяцев. В каких скверных условиях я работал! С другой стороны, этот страшный роман вместе с немецкими горестями наверняка виновен в моем заболевании, которое грипп только активизировал... Лекции откладываются до октября, это дело решенное».

И дневник обрывается.

XIII

Быстрым и, кстати сказать, благоприятным развитием дальнейших событий я обязан не кому иному, как моей жене, ибо она, в отличие от всех нас, твердо знала, чего хотела, и делала все, что считала необходимым. Розенталь, из-за моего возраста, был в принципе против операции и даже, щадя меня, против бронхоскопии, о которой

американский врач равнодушно сказал, что я оправлюсь от нее через какую-нибудь неделю. Его лечащий коллега, из чисто человеческих чувств, предпочел понадеяться на то, что абсцесс будет ликвидирован самим организмом, в общем-то довольно покладистым, то есть без хирургического вмешательства, тем более что инъекции пенициллина, проделываемые по восьми раз в сутки приглашенной специально для этого медицинской сестрой, давали хорошие результаты. Пенициллин совершенно устранил лихорадку, — в течение всей этой эпопеи она так и не появлялась. Однако мы все понимали, что метод выжидания отнюдь не страхует от величайших неприятностей, и, в то время как доктор медлил, а я, находя это самым удобным, полагался на окружающих, моя жена приняла решение. Она связалась с нашей дочерью Боргезе, жившей в Чикаго, а та — с университетской клиникой «Беллингз госпитэл», где работает один из лучших хирургов Америки доктор Адамс, считающийся особенно опытным специалистом по легочной хирургии. Там было быстро все улажено, здесь — обеспечены железнодорожное купе и санитарная машина для поездки на вокзал, и не успел я оглянуться, как очутился перед домом, под озабоченными взглядами нашей японской *couple*¹, Ваттару и Кото, на носилках, которые были тут же помещены в санитарный автомобиль, отличавшийся быстрым и плавным ходом.

В столь непривычных условиях мы добрались до Юнион-Стейшн и, пользуясь правом проезда к самому поезду, до нашего *bed-room*², где, лежа в пижаме, под прищуром жены, моей весьма неудобно устроенной сиделки, я провел следующие тридцать шесть часов. Элизабет встретила нас в Чикаго, и там нас опять ждала санитарная машина с носилками на колесиках, носилками, которые вскоре, будучи подняты на лифтах и миновав длинные коридоры «Беллингз госпитэл», доставили меня в заранее подготовленную и, благодаря моей славной девочке, уже украшенную цветами палату. Как ярко запомнились мне, никогда дотоле не сталкивавшемуся с жизнью большой больницы и не имевшему дела с хирургией, все эти первые впечатления: свободно ходившие в обе стороны и не достававшие до пола двери, сквозь которые бесшумно сновали няньки, чтобы измерить температуру, сделать укол, принести болеутоляющую таблетку; незамедлительный приветственный визит лечащих врачей *in согроге*³, во главе с самим хирургом, доктором Адамсом, милым, простым и добрым человеком, совершенно лишенным деспотической напыщенности администраторов немецкого стиля, внушающих трепет ассистентам и сестрам; затем его *medical advisor*⁴, терапевт, профессор университета Блох, высокого роста брюнет, родом из Фюрта под Нюрнбергом, как он мне вскоре сообщил по-немецки; далее — специалист по легочным заболеваниям доктор Филиппс, балагур и шутник, и еще двадцатичетырехлетний красавец доктор Карлсон, северянин, «интерн» этой большой клиники, имевший все права на такой пост хотя бы уже благодаря своей великолепной сообразительности и необычайно умелым рукам, — и прочие фигуры в белых халатах. Для начала это были приятные личные впечатления. Первый общий осмотр произвел затем профессор Блох, который властно отстранил ассистента, начавшего было меня осматривать. Об истории болезни он расспрашивал меня очень любезно и обстоятельно. Кстати сказать, более молодые врачи потратили несколько часов на то, чтобы записать ее под диктовку моей жены. Формально решение о хирургическом вмешательстве еще не было принято и зависело от результата бронхоскопии, но этот результат был уже почти ясен.

Процедура бронхоскопии явилась одним из примечательных событий последующих десяти дней, познакомивших меня с хитроумной конструкцией моей больнич-

¹Четы (англ.).

²Спального купе (англ.).

³В полном составе (лат.).

⁴Врач-консультант (англ.).

ной кровати, изголовье и изножье которой произвольно устанавливались на любой высоте, и вообще с бытом пациентов, с распорядком больничного дня, рано начавшегося и рано кончавшегося. На *stretcher'e*¹, с помощью лифта, меня доставили в одно из нижних помещений, где уже во множестве собрались либо непосредственные участники исследования, либо сотрудники клиники, пожелавшие присутствовать при этом акте, в том числе и мой друг Блох. Бережность, с которой действовали медики, была поразительна, заслуживала величайшей благодарности и достигалась поистине волшебными средствами. Сначала смазали анестезирующей жидкостью зев. Затем ассистент положил мою голову к себе на колени (позднее ему пришлось быстро ее поднять), а деятельного вида женщина в белом переднике сделала мне укол в левый локтевой сгиб, объяснив, что очень скоро я почувствую сонливость. Сонливость ли? Не успел я сказать и двух слов, как мое сознание куда-то ушло, ушло спокойно и полностью, так что я, впрочем недолго — минут пять или шесть, совершенно не чувствовал, что со мною происходит. А все, что происходило, наверно очень тяжело вынести при бодрствующем рассудке, — недаром же мой калифорнийский консультант говорил, что в течение недели я отлично оправляюсь от бронхоскопии. Здесь не нужно было ни от чего оправляться, ибо никаких мучений не было. Я очнулся уже у себя в комнате, когда добрый доктор Адамс, сопровождавший меня до моей кровати, осторожно прочищал мне нос. Когда в легкие через дыхательное горло вводится аппарат с электрической лампочкой (благодаря особому перископическому устройству видна точная картина происходящих там процессов), это естественно вызывает слизисто-кровянистые выделения во всем дыхательном тракте, и, возвратясь в постель, вы должны извести несколько бумажных салфеток, но этим, собственно, исчерпываются все неприятности. Я был в восторге и целыми днями, к удовольствию медиков, главным образом молодых, с восхищением и благодарностью восхвалял магическую инъекцию.

Это средство, применяемое лишь с недавнего времени, называется, если я не ошибаюсь, пентатол, но на месте мне так и не удалось узнать его наименование. В подобных учреждениях существуют свои неписанные законы, и к числу их принадлежит заповедь молчания, в силу которой от больных утаиваются способы их лечения, так что очень скоро начинаешь чувствовать всю бестактность любопытных расспросов на этот счет. Сестры отказываются сообщать пациентам результаты измерений температуры. Они ни за что не скажут, из чего состоят эти беленькие пластинки, на которые они каждые два-три часа ставят стакан с водой, а врачи ни в коем случае не откроют больному названия и назначения прописанных ими лекарств. Помню, как во время выздоровления я однажды немного испортил себе желудок жареной рыбой и уже поздно вечером вызвал дежурного «интерна», чтобы пожаловаться ему на свое недомогание. В подобных случаях, заявил я, мне лучше всего помогает половина чайной ложечки соды, *patrium bicarbonicum*. Пропустив мои слова мимо ушей, он еще некоторое время расспрашивал меня о симптомах расстройства и его возможных причинах. Наконец он сказал: «Well, don't worry, we will give you a little something which will be helpful»². Сестра принесла это «little something»³ в чашке. Это была сода.

Итак, окончательно было решено делать операцию, и следующие пять-шесть дней, в отсутствие доктора Адамса, уехавшего на какую-то конференцию врачей, были посвящены всевозможным приготовлениям и предупредительным мерам, анализам крови, путешествиям в кресле-каталке или на *stretcher'e* в рентгеновскую лабораторию. Один за другим следовали визиты различных специалистов клиники. Особенно удовлетворен был специалист по сердечным болезням, англичанин, насколько я помню. Что касается сердца, сказал он, то ему по силам любая операция. Меня посетила

¹ Носилках (англ.).

² Не огорчайтесь, мы дадим вам кое-что, что вам поможет (англ.).

³ Кое-что (англ.).

очень важная персона — доктор Ливингстоун, супруга моего оператора и заведующая всей анестезией, волшебница, смешивающая усыпительные эликсиры. Я взял с нее слово, что перед главной операцией меня снова сподобят благодати чудотворного впрыскивания. Дошла очередь и до пневмоторакса, то есть до нагнетания воздуха в грудную полость для успокоения больной доли, и было как-никак любопытно на собственной шкуре испытать лечебную процедуру, о которой я столько говорил в былые дни работы, во времена «Волшебной горы». Профессор Блох проделал ее с величайшей аккуратностью и ловкостью, а маленький Карлсон любознательно наблюдал за его действиями. Все это было не так уж мучительно, однако Блох очень хвалил меня за мое товарищеское поведение, а когда я удивился его похвалам, он сказал: «Если бы вы знали, как люди любят притворяться в таких случаях!»

Тем временем Эрика, узнав о наших делах, прилетела из Нюрнберга, чтобы быть рядом со своей матерью, которая жила у Боргезе и большую часть дня проводила у моей постели. Ничего не могло быть для нас обоих желаннее и отраднее, чем присутствие этой девочки, всегда полной жизни и любви, всегда приносящей с собой веселье и бодрость. Она вменила себе в обязанность поливать и менять цветы, успевшие заполнить мою комнату; эти лавры, преподнесенные хоть и авансом, перед сражением, были все-таки услодой для глаз, я был жаден до них и гордился ими как всякий лежащий постоялец этого дома — «just another patient»¹, как описала меня одна из нянек в ответ на жадные расспросы знакомых. Не страдая ни от жара, ни от болей, я был только очень слаб, так что даже бритье чрезмерно меня утомляло, и, таким образом, переливание крови, сделанное мне за день или за два до операции, оказалось, по-видимому, вовсе не лишним. Его произвели по обычаю два юных практиканта, и покамест консервированная кровь медленно текла в мои сосуды, я развлекал молодых людей чтением одной из тех поразительных сводок последних известий, которые фабриковала Эрика, наклеивая на бумагу вырезанные из газет буквы и целые слова. То был «4-Power Showdown Triumph Bulletin 1946, released after Wild Ride for Germany»² с такими сенсационными headlines³, как «Truman Sniffs at U. S. Policy». «Eisenhower May Be Arrested on Spy Charge», «Germany Demands Dismissal of U. S. Government. Explains Why», «Russia Asked to Neglect Red Defense», «Truman Hopes to Lure Stalin to Missouri, Pepper Says», «Foreign Born Babies by War, Navy Leaders Pose Problem — Ike Will Recognize Quintuplets — Bradley Favours Murder», etc, etc⁴. Таким образом, во время этого акта царило не вполне уместное веселье, но мне хотелось рассмешить молодых людей, чтобы самому легче справиться с жутковатой процедурой.

Потом вернулся Адамс и заявил, что если я ничего не имею против, то можно «go ahead»⁵. Итак, завтра утром. Моя жена, несколько нарушая правила клиники, пожелала провести эту ночь в довольно неудобном кресле около моей кровати, а я спал самым спокойным сном. Но вечером я все-таки спросил доктора Блоха, как переводится на английский язык слово «Lampenfieber» (волнение перед выходом на сцену). «Stagefright», — ответил он. Ровно в семь, как всегда, день начался с утреннего туалета. Я получил свою «hуро» (интимно-уменьшительная форма вместо «hypodermic injection», что значит «подкожное впрыскивание»; это был, разумеется, морфий, но кто бы осмелился задавать вопросы?) и со stretcher'a, на котором меня увозили, подмигнул на

¹ Обыкновенный пациент (англ.).

² Торжественная Декларация 4-х держав, выпущенная в 1946 г., после разгрома Германии (англ.).

³ Заголовками (англ.).

⁴ «Трумэн не одобряет политику США», «Эйзенхауэр может быть арестован по обвинению в шпионаже», «Германия требует роспуска правительства США. Приводит мотивы», «От России требуют, чтобы она пренебрегла обороной красных границ», «По сообщению Пеппера, Трумэн надеется заманить Сталина на Миссури», «Младенцы, рожденные во время войны от иностранцев, Адмиралы ставят проблему — Айк признает пять пунктов — Брэдли приветствует убийство» и т. д. и т. д. (англ.).

⁵ Приступить (англ.).

прощанье своим любимым и близким. Никогда не забуду умиротворенности, царившей в полутемной проходной комнате перед операционной, где мне, лежа на каталке, пришлось несколько мгновений помешкать. Вокруг меня ходили люди, но они передвигались на цыпочках, а если кто приближался ко мне для краткого приветствия, то делал это с величайшей осторожностью. Блох выглянул из-за двери и кивнул мне головой. «No stage-fright to-day»¹, — уведомил я его, но он не отозвался на мою шутку. Профессор Адамс сказал «доброе утро» и сообщил мне, что, помимо моего любимого укола в руку, мне дадут еще кое-что, «a little something» вдохнуть. Я был тронут его добросовестностью. «Ирландскую я знаю королеву», — процитировал я мысленно, имея в виду энергичную Ливингстоун. И действительно, вскоре, присев возле меня, она сначала занялась моей рукой (может быть, она просто изображала какую-то деятельность: что толку в нескольких каплях пентатола, когда предстоит длительная работа), а потом ловко надела на меня пропитанную какими-то благовониями маску. Все исчезло. Это был самый мирный, самый нестрашный и самый быстрый наркоз, какой только можно себе представить. Кажется, мне достаточно было одного вдоха, чтобы уйти в полное небытие — конечно, в дальнейшем, в течение полутора или двух часов приходилось дополнительно орошать маску, чтобы продлить это состояние. Все совершалось, насколько мне известно, без моего участия, но, судя по позднейшим рассказам, это были благословенные часы. Стояло чудесное утро, все отлично выспались и со свежими силами, легко и непринужденно, трудились под началом доктора Адамса, который работал с обычным своим мастерством, без излишней поспешности и все-таки сберегая время выверенной точностью каждого движения. Ему на помощь пришел терпеливый, обладавший еще как-никак основательными резервами организм (в ходе операции мне потребовалось сделать всего лишь одно переливание крови, тогда как с другими, даже более молодыми пациентами приходится проделывать эту процедуру дважды и трижды), и помощь его, в сочетании с изощреннейшим врачебным искусством обеспечила почти сенсационный клинический успех. Я слышал, что в медицинских кругах Нью-Йорка и Чикаго потом еще несколько дней говорили об этой «most elegant operation»².

Моя жена, Эрика и Меди провели часы доверчиво-напряженного ожидания в «оффисе» доктора Блоха. Время от времени он приходил туда с отчетом. «Все идет хорошо, все идет очень хорошо», — говорил он, а у самого руки были холодные. Затем жена ожидала меня в моей палате, где я, давно уже лежа в своей постели, ненадолго проснулся. Все еще не придя в себя, я, вопреки обыкновению, заговорил с ней по-английски и, подумать только! — пожаловался. «It was much worse than I thought, — сказал я. — I suffered too much»³. До сих пор я гадаю о смысле этой бессмыслицы. Что я имел в виду? Ведь я же ничего не чувствовал. Неужели существуют какие-то глубины сознания, в которых, даже если целиком выключены наши органы чувств, можно страдать? Правомерно ли проводить резкую грань между страданием и подсознательно выстраданным? Последнее понятие можно было бы соотнести даже с «мертвым» организмом, о котором никто не знает, насколько он мертв, покамест он действительно не подвергся распаду; это могло бы, пусть всего лишь в форме недоверчивого вопроса, послужить каким-то доводом против кремации. Выражаясь по-английски: «It may hurt...»⁴

Последствия наркоза были ничтожны, они не мешали мне беспробудно спать. Через стеклянную трубку меня поили попеременно теплой и холодной водой. При таких хирургических вмешательствах теряешь очень много жидкости. В семь я спро-

¹ Сегодня я не испытываю волнения перед выходом на сцену (англ.).

² Изящнейшей операции (англ.).

³ Это было хуже, чем я думал. Я слишком страдал (англ.).

⁴ Это может быть больно... (англ.).

сил у дежурного врача, который час. Он ответил. «Вы рано поднялись», — удивился я. «Вы не совсем правы, — возразил он. — Это еще все тот же день». Я сразу уснул опять. Кажется, ночью или рано утром мне влили в рот апельсиновый сок. Никогда в жизни я не испытывал таких чудесных вкусовых ощущений. Очевидно, этот напиток в равной мере утолил и жажду и голод, и приходится только поражаться, как блаженно усиливается восприимчивость вкусовых нервов бессознательной потребностью организма. С подобным же сладострастием реагируют они, по-видимому, и на всякие сладости, будь то даже обыкновенное пралине, после применения инсулина... Теперь около меня круглосуточно дежурили три частных сиделки, сменявшиеся каждые восемь часов. Помимо противомикробных пенициллиновых уколов, повторяемых через каждые три часа, в обязанности сиделок входило помогать мне поворачиваться с боку на бок, что мне давалось с большим трудом и в чем существовала непрерывная необходимость; ибо движение, перемены позы, при которых не отдается никакого предпочтения неповрежденному боку, являются ныне элементом лечебной техники, и уже на второй день молодой Карлсон заставил меня, впрочем под бдительным своим надзором, страховавшим от возможного падения, постоять несколько минут на ногах возле моего ложа. Это мне вполне удалось, и только возвращение в сравнительно высокую постель с помощью специальной скамеечки оказалось для меня несколько затруднительным.

Ночную сиделку, дежурившую от одиннадцати до семи, звали Джун Колмэн. Это была достопамятно приятная особа. Даже когда пациент стар, заштопан нитками и неповоротлив, его чувства к ангелу его ночей, если таковой хоть сколько-нибудь привлекателен, — а Джун была определенно красива, — почти неизбежно согреваются какой-то нежностью. И в этом смысле тоже я был «just another patient». Когда я в час или в два часа ночи переставал спать и Джун вместе с чашкой чая приносила мне вторую таблетку секонала (разумеется, это прекрасное, кстати сказать, недоступное в Европе средство именовалось не иначе, как «красная таблетка»), я расспрашивал ее об ее доме, об ее образовании, об ее делах. Она была или, вернее, уже не была помолвлена, ибо жених, как сообщила она, пожав плечами, скрылся, пропал. Почему же? Не думает ли она, что он сошелся с другой? «Я бы этому не удивилась», — ответила Джун. «А я, — сказал я, — я бы очень удивился, если бы увидел такого дурака!» Вот как далеко я зашел, и она тепло улыбнулась. Она умела подкупающе-ласково улыбаться, когда я ночью, капризно скорчившись в кресле, упрямо отказывался спать и вообще возвращаться в постель. Урезонив меня, подложив мне под спину подушку и прикрепив кнопку светового сигнала к моему одеялу английской булавкой, она удалялась на полчаса, чтобы посидеть за кофе с дежурными сестрами. «Now I am going to have my coffee»¹, — говорила она, смакуя слова «my coffee» с какой-то особой нежностью, о которой мне до сих пор еще приятно вспоминать.

Если операция прошла классически и без каких-либо инцидентов, то столь же гладко, в клиническом смысле, столь же быстро и без помех протекало выздоровление. Даже тридцатилетний человек, уверяли меня врачи, не мог бы вести себя корректнее как пациент. Я прослыл каким-то prize patient². Но шок, неизбежно поражающий весь организм, всю нервную систему при подобных вмешательствах, разумеется давал себя знать. Появилась также слабость в груди, усугубленная позывами к глотательным движениям и устрашающе затруднявшая отхаркивание и откашливание. Приходилось принимать кодеин, чтобы ослабить обычные при сращении боли в спине; перемены, происшедшие в моих внутренностях в связи с удалением седьмого ребра, и повышение диафрагмы вызвали стесненность дыхания при резких движениях. Однако кислородный аппарат, некоторое время стоявший возле моей кровати,

¹Теперь я выпью кофе (англ.).

²Образцовым пациентом (англ.).

очень скоро исчез, а метровый шрам отлично заживал, так что через несколько недель красавец Карлсон (красивый человек, будь то мужчина или женщина — это истинная радость) удалил швы, удалил мастерски, предотвратив возможные неприятности. По окончании High School ¹, не слишком обременяющей школьников своей учебной программой, Карлсон поступил не в колледж, а сразу в Medical School ², где, будучи стипендиатом военно-морского флота, учился бесплатно. Он явно ничего на свете не знал, кроме хирургии, для которой, однако, был прямо-таки создан и в которой нашел свое счастье. Я и сейчас еще вижу, как он, в резиновой рубашке и фартуке, двигаясь мальчишеской рысцой, катит по коридорам «Биллингз госпитэл» каталку на шинах с закутанным в простыню человеческим телом, удовлетворенно одностороннее, прилежное, приятной наружности существо.

Рано утром, когда Джун уходила, искусно умыв меня в кровати и напоив меня кофе (ибо завтрак подавался только в девять часов), я сидел в пижаме к окну, наблюдал, как спуют люди у парадного входа, глядел во двор, где все больше и больше зеленели деревья, и читал, подчеркивая некоторые места, Ницше, ибо lecture ³ о нем, которую я задолжал, все еще висела надо мной как первоочередное дело. Затем ко мне, бывало, заходил доктор Феннистер, председатель «American Association of Surgeons» ⁴ и главный врач университетской клиники, ученый лучшего американского типа, спрашивал, чем я занимаюсь, листал мое наумановское издание Ницше и оставлял мне какую-нибудь свою статью по истории медицины. Адамс и его свита наносили мне утренний визит во время общего обхода; приходила жена, приходили дочери, а по мере того, как тек день, как текли дни, являлись и гости из внешнего мира: у меня побывали Берман и Гумперт, у моей постели сидел Бруно Вальтер, который тогда как раз давал концерты в Чикаго, да и Кэролайн Ньютон не убоилась путешествия из Нью-Йорка и явилась с подарками: с вечерним чайным сервизом и одеялом из тонкой шерсти. Альфред Кнопф прислал банку икры. А в цветах никогда не было недостатка. Если они шли на убыль, сразу же появлялась Эрика со свежими розами. Когда в критических обстоятельствах тебя окружают такой любовью, таким участием, такими заботами, ты вопрошаешь себя, чем ты это заслужил, — и вопрошаешь в общем-то понапрасну. Разве тот, в ком всегда сидел бес сочинительства, кто всегда озабочен, одержим, безраздельно занят своим дневным, своим годовым уроком — бывает когда-нибудь приятным собратом в быту? *Dubito* ⁵. А имея в виду лично себя, сомневаюсь и подавно. Как же так? Неужели сознание собственной бесчеловечности, коренящейся в сосредоточенной рассеянности, неужели окрашенное сознанием этой вины бытие может заменить даже не совершенные тобою поступки, может вызвать примирительное, более того — приятное отношение к тебе?.. «Спекуляция» эта достаточно нечестива, чтоб приписать ее Адриану Леверкюну.

Мой роман — все эти необычные, полные приключений недели я вынашивал его в душе, мысленно составлял список необходимых поправок и обдумывал его дальнейший ход. То, что я хорошо вел себя как пациент, что я поправлялся с едва ли свойственной моему возрасту быстротой, что я вообще хотел выдержать и успешно выдержал столь тяжкое, позднее и неожиданное испытание моего организма — разве все это не имело некоей тайной цели, разве ей не служило, и не затем ли ко мне вернулось сознание, чтобы я встал и закончил это? Мысль о моей работе была подобна открытой ране, любое прикосновение к которой, пусть даже с самыми добрыми намерениями, встряхивало меня, при всей моей слабости, поразительным образом. Моя

¹ Школы (англ.).

² Медицинский институт (англ.).

³ Лекция (англ.).

⁴ Американская ассоциация хирургов (англ.).

⁵ Сомневаюсь (лат.).

жена и Эрика прочитали привезенный в Чикаго машинописный экземпляр текста, и однажды, когда я, не чувствуя ни малейшего аппетита, сидел за своим узким обеденным столиком, Эрика поделилась со мной отдельными впечатлениями; она говорила только о первых наездах в Пфайферинг друзей Адриана, Шпенглера, Жанетты Шейрль, Швердтфегера, о художественном свисте Руди, о том, что все это, по ее мнению, превосходно написано. Я тотчас же залился слезами, радостный смысл которых мне тотчас пришлось растолковать своей девочке, ибо она безжалостно бранила себя за неосторожность.

Полное отсутствие аппетита было единственным, на что я жаловался врачам во время их все более и более беспредметных визитов. В значительной мере оно объяснялось непрерывным, продолжавшимся почти до конца моего пребывания в клинике, потреблением пенициллина, этого, несомненно, достойного всяких похвал защитного средства, которое, однако, со временем, как гарпия, оскверняет любую пищу и в конце концов вызывает у тебя величайшее отвращение к еде, ибо тебе уже всюду чудятся вкус и запах пенициллина. Впрочем, известная критическая привередливость свойственна этому расслабленному состоянию как таковому, и оно считает себя слишком деликатным для многих потребностей, присущих более грубому бытию. Это сказалось в моем воздержании от алкогольных напитков, удивившем даже меня самого. К благороднейшему южному вину, сразу же поставленному у меня в комнате Меди Боргезе, я предпочитал вообще не притрагиваться, находя его крайне невкусным. Даже легкое американское пиво казалось мне слишком грубым. Зато в больших количествах, за каждой трапезой, я пил кока-колу, это популярное, впрочем, любимое и детьми зелье, в котором ни прежде, ни позднее не находил никакого вкуса, но которое тогда неожиданно стало моим единственным питьем.

Эти капризы и прихоти организма не помешали восстановлению сил и даже способности к свободному передвижению. Каким труднопреодолимым казалось мне сначала короткое расстояние от двери моей палаты до гостиной, находившейся справа, в конце коридора! Вскоре, опираясь на руку жены или вечерней сестры, я проделывал во много раз больший путь по длинным коридорам этажа, где из репродукторов то и дело слышались фамилии вызываемых куда-то врачей. Но вот наступил день, когда я впервые оделся для выхода на улицу и, выехав в кресле-каталке во двор на теплый, весенний воздух, ненадолго покинул свой экипаж, чтобы походить перед домом и с укутанными одеялом коленями посидеть на скамейке. В долгие часы лежания я много читал. Сначала я взялся за английское издание умной и часто хвалимой книги нашего Голо о Фридрихе Гентце. Затем Боргезе дали мне четыре тома «Зеленого Генриха», с которым дотоле, как это ни странно и даже ни скандально, я почти не был знаком. Мне была известна переписка Келлера с издателем Фивегом: заказав Келлеру «роман», издатель спрашивается о ходе работы, торопит, не может понять такой медлительности, приписывает ее лени, усматривает в ней обман и наконец совсем теряет терпение, а молодой автор, под чьим пером вырастает нечто неповторимое, из ряда вон выходящее, самобытно-великий, исчерпываемый только годами труд, извиняется, ищет оправданий, не укладывается ни в какие сроки и снова хлопчет о дополнительном времени. Этот глубоко комичный конфликт очень меня позабавил. Однако я так никогда и не чувствовал себя обязанным выйти за рамки поверхностно-испытательного знакомства с произведением, столь долговечным и столь родственным моей сфере. Связано ли это с тем, что смолodu я был воспитан гораздо больше на «европейской», русской, французской, скандинавской, английской литературе, чем на немецкой, так что и встреча со Штифтером поразительно запоздала? Мне кажется, что из эпической автобиографии Келлера я знал всего-навсего какие-то эпизоды детства, вроде Мейерлейна и его «скаредной цифири». Теперь я читал эту книгу с величайшим интересом, все больше и больше восхищаясь ее честно завоеванной жизненностью, великолеп-

ной чистотой ее языка, очень своеобразного и вместе с тем очень близкого к гетевскому, — да, восхищаясь, хотя сам повествователь, Зеленый Генрих, отнюдь не вызывает восхищения, так же как, впрочем, — и это, конечно, закономерно, — герои других воспитательных или образовательных романов, и к нему еще больше применим эпитет «бедный пес», которым Гете однажды наделил своего Вильгельма.

«You are still reading? You don't sleep? Shame on you!»¹ Это говорила Джун, когда при ее появлении, в одиннадцать часов, у меня еще горел свет. Его гасили, оставался только синеватый огонек ночника, подушка фиксировала наиболее удобную при лежании на боку позу, и ночной ангел-хранитель садился на стул, которым теперь уже и я так часто пользовался в дневные часы. Но я устал от этого быта, был вправе устать от него, и в одну из таких ночей набросал заманчивый план: не дожидаться здесь истечения полных шести недель после операции, устроить себе переходной период и провести последние перед нашим отъездом дни в гостинице, в знакомой гостинице Уиндермиер, неподалеку от озера. На совещание был призван доктор Блох; он дал согласие. Сборы прошли быстро, я тепло попрощался со всеми, дарил книги с надписями, делал подарки нянькам; тут же устроили и пресс-конференцию: в нижней гостиной и курительной собрались журналисты, и, поддерживаемый Эрикой, далеко еще не способный произносить речи, я вышел к ним, желая, собственно, только пропеть дифирамбы клинике, ее врачам и славным делам, которые они со мной совершили. Но это-то мне и запретили, ибо «Биллингз госпитэл» не терпит никакой publicity², недаром и справки обо мне все это время выдавались крайне скупно. Поэтому я мог изречь собравшимся boys³ только несколько благонамеренных политических сентенций, и то вскоре был cut short⁴ Эрикой, которая берегла мои силы. Меди Боргезе доставила нас на своей машине в гостиницу, где уже приготовила нам номер. Какие чудесные комнаты! А трапезы в нашей dinette⁵, насколько же они соблазнительнее, чем больничная пища! Я уже не пил больше кока-колу. Доктор Блох навещал нас в свободные часы. Забастовка железнодорожников задержала наш отъезд на сутки. Пришлось много звонить по телефону, чтобы выяснить, отправится ли «chief»⁶ в Лос-Анжелос, и если отправится, то когда именно. В воскресенье он был подан. Обратное путешествие было совершено с величайшим комфортом, в drawing-room⁷, где нас и кормили. В четверг, 28 мая, мы втроем прибыли в Юнион-Стейшн.

XIV

Стояла самая лучшая пора года. Прогулки по саду, находившемуся под заботливым присмотром Ватгару, ослепительная пышность цветов, четкие контуры цепи Сьерры, вырисовывавшиеся за долиной и за холмами, а с другой стороны, за вершинами пальм, вид на Каталину и океан — все эти райские картины и краски приводили меня в восторг. Я был счастлив, что мой организм доказал свою стойкость, что я cum laude⁸ выдержал жесточайшее испытание, счастлив, что вернулся к себе домой и снова оказался среди своих книг, среди всех привычных атрибутов беспокойно-деятельного бытия; счастлив даже из-за радости пуделя, который, чуя, по-видимому, тревожный смысл нашего отъезда, с печальным взглядом положил мне лапу на колено, когда я в спальне ждал санитарной машины, и который теперь, пускаясь в пляс и в галоп,

¹ Вы все читаете? Вы не спите? Стыдитесь! (англ.).

² Рекламы (англ.).

³ Молодым людям, здесь — репортерам. (англ.).

⁴ Прерван (англ.).

⁵ Маленькой столовой (франц.).

⁶ Экспресс (англ.).

⁷ Салоне (англ.).

⁸ Похвально (лат.).

праздновал наше водворение на старое место; я был счастлив прежде всего потому, что давно уже принял решение, особенно улыбавшееся Антонио Боргезе — не братья ни за какую другую работу, пока не закончу роман, который по существу, как мне казалось, был уже готов, так что я четко представлял себе его завершение. Конечно, до самого последнего слова будут встречаться трудности, подчас немалые, но шаг за шагом их можно преодолеть.

Приходили хорошие друзья и приносили хорошие дары: Дитерле, Нейманы, Елена Тимиг, Фритци Массари. Адорно подарил упоминавшуюся выше книгу Бенямина о немецкой трагедии, книгу, к числу интереснейших наблюдений которой относится замечание о порою еще осязаемой связи шекспировской драмы с аллегорическими средневековыми действиями, посвященными чорту: по мнению Бенямина, шекспировские архинегодяи и архизлодеи, все эти Ричарды и Яго, являются в своем недвусмысленном комизме, кстати, не чем иным, как великолепным реликтом этой сферы религиозного юмора, исторически не столь уж далекой для их создателя — остроумнейшая гипотеза, во всяком случае весьма соблазнительная для меня, которого, разумеется, особенно волновали разделы книги, трактующие о сатанинском начале. Способность и готовность связывать все прочитанное с собственным увлечением почти смешна, если поглядеть на себя со стороны, а между тем, словно благодаря какому-то сводничеству, все мало-мальски пригодное и любопытное так и спешит к тебе в руки. Поздравительным подарком Лиона Фейхтвангера, не очень-то посвященного в мои поэтические замыслы, оказались сочинения Агриппы Неттестеймского — какое трогательное внимание! Ведь там я сразу же обнаружил забавно-сердитую главу о заклинании бесов и черной магии и, более того, главу о музыке, или скорее уж против музыки, полную морально-обличительных рассуждений. Судя по греческим поэтам, сказано там, бог Юпитер никогда не пел и не играл на цитре, а Паллада прокляла флейту. «По совести говоря, есть ли что на свете негоднее, презреннее и достойнее порицания, нежели свистуны, певцы и прочие подобные *musicī*¹, каковы... словно бы отравленные сладостью, точно сирены с их непутевым пением, притворными позитурами и игрой, ищут обворожить и пленить души людские? Затем и ополчились на Орфеуса фракиян храбрые жены, что тот пением своим мужей их вовсе изнежил...» Музыка всегда казалась подозрительной, и особенно людям, страстно ее любившим, например Ницше...

Когда приходилось слишком долго беседовать, я обливался потом и задыхался, и мои женщины требовали, чтобы я, щадя себя, прежде всего отказался от разбора накопившейся почты, так что обработка корреспонденции была поручена ими моему секретарю, моей верной Хильде Кан, переписчице «Фаустуса». Я все еще, отчасти из какого-то сентиментального консерватизма, не расставался с больничными привычками: пил ночью чай, после чего принимал снотворное и днем укладывался в постель на два часа. Но уже через два дня после возвращения дневник говорит о «работе над последними частями рукописи», а в начале июня я уже снова, преблагополучно уйдя далеко назад, латал и правил никак не удававшуюся восьмую главу. Так как от сидения за столом болела спина, пришлось найти новую рабочую позу, от которой не отказываюсь и до сих пор: я стал писать, сидя в углу дивана, держа на коленях дощечку, к которой, с помощью металлических скобок, прикреплена бумага. Так, в утренние часы, я перебирал список исправлений, загодя составленный. В начале месяца он был исчерпан, и настало, таким образом, время двинуться дальше. Однако я все еще не освободился от «утомительных длиннот и излишеств», как выразился я в дневнике, впрочем, довольно-таки беспечно прибавив: «...но их пусть устраняют другие». Эта склонность возложить ответственность за дальнейшие, надо думать, весьма энергичные вторжения в текст на других объяснялась, по-видимому, моим состоянием выздоравливающего больного, привыкшего обе-

¹ Музыканты (лат.).

регать себя от всяких забот, но, кроме того, была связана с тем, что втайне я относился к «Фаустусу», как к своему духовному завещанию, опубликование которого уже не играет никакой роли для меня лично и с которым издатель и душеприказчик могут обоиться как им заблагорассудится. Какое-то время по крайней мере дело мне представлялось именно в таком свете. Впрочем, думая о душеприказчике, я, кажется, уже имел в виду определенного человека из моего окружения, того, к кому вполне можно отнести отеческие слова: «Ведя с тобою речь, советуюсь с собой» — и чей совет стал бы, следовательно, моей собственной речью.

Поначалу было хорошо снова продвигаться вперед. Еще до середины июня я засел за XXXV главу, о судьбе бедной Клариссы, черпая материал прямо из жизни нашей семьи, и спустя двенадцать дней закончил эту главу, так что еще до конца месяца удалось начать следующую, где я вспоминаю атмосферу двадцатых годов в Германии, ввожу невидимую доброжелательницу, этот образец величайшего такта, и с удовольствием описываю подаренное ею кольцо. Тем временем мне исполнился семьдесят один год. Самым полезным и нужным подарком, отметившим этот юбилей, было красивое складное кресло, которое отныне мы брали с собой в поездки, так что теперь я всегда мог удобно устроиться на лоне природы, выбрав любое место с видом на море. Ходить мне было все еще трудно, и из-за своей органической неспособности представить себя в каком-то ином, чем в данный момент, состоянии, я уже настроился таскать за собой это складное кресло до конца дней своих, хотя вскоре совсем перестал им пользоваться... В основанном Жидом журнале «Арш», который я регулярно получал, мне попался любопытный этюд об Антоне фон Веберне — ученике Шенберга — свидетельствующий об интересе французской интеллигенции к модернистской музыке; еще я прочитал проникновенно-умную статью об атеизме Ницше, толкующую этот атеизм как особую форму религии — в полном согласии с той очень мне близкой концепцией, встречавшейся даже в американской критике, по которой борьба Ницше против христианской морали является *одним из фактов* истории христианства... Стивен Спендер объездил разоренную Германию; его весьма живой отчет об этом путешествии, опубликованный на немецком языке в «Нейе швейцер рундшау», навевал тихий ужас тем отвращением, с каким здесь описывались трагические излияния немецких писателей, излияния пустопорожне-расплывчатые и самодовольно-чванливые, но тихий ужас вызывало опять-таки и поведение «внутренней эмиграции». Эту статью можно было бы озаглавить «Глазами Запада», как назван шедевр Джозефа Конрада, чьи книги я теперь часто читал перед сном и, кажется, прочел полностью: начав с «Lord Jim»¹, я приступил к «Victory»² и в несколько недель прочитал всю серию этих романов, увлекших, покоровивших и, пожалуй, пристыдивших меня как немца тем мастерством мужественного, добротного по языку, психологически глубокого и высоконравственного приключенческого повествования, какое у нас не то что встречается редко, а и вовсе *отсутствует*... «Зеленый Генрих», благодаря Гете родственный, как мне показалось, «Бабьему лету», занимал меня по-прежнему. Не переставая восхищаться этим романом, я из-за своего историко-литературного невежества был очень смущен и озадачен отличием четвертого тома в том виде, в котором я его теперь читал, от издания, которым пользовался в больнице: уже начиная с третьей части, налицо явно две редакции, ведь и «Бой шутов» тоже обрачивается двояко, ибо в одном из вариантов Люс умирает от раны. А как удивителен, как своеобразно-неповторим этот позднейший отказ от автобиографической формы, этот переход от «я» к третьему лицу! К счастью, в июне нас навел на наш цюрихский друг, молодой писатель Рихард Швейцер, приехавший в Калифорнию по каким-то кинематографическим делам; пожаловавшись ему на эти несообразности, я потре-

¹ «Лорда Джима» (англ.).

² «Победе» (англ.).

бовал от него объяснения, и через несколько недель, когда он уже прилетел в Цюрих, получил от него обе редакции этого чудесного произведения, 1854—1855 и 1879 годов, изданные «на основании архивных материалов» Ионасом Френкелем, восемь изящных томов в холщовых переплетах, каковые теперь и находятся у меня под рукой, на полке в моем кабинете...

Приятная и знаменательная весть пришла из Германии: в том самом городе, где происходит действие «Лотты в Веймаре», — более того, в гостиных гетевского дома, — при содействии русских, был прочитан цикл лекций о моем романе, собравших, если меня правильно информировали, большую аудиторию. Это событие глубоко меня тронуло. Впрочем, оно ассоциируется с одной смешной историей, о которой я узнал немного позднее. Уже во время войны отдельные экземпляры «Лотты», тайком ввезенные из Швейцарии, ходили в Германии по рукам, и враги гитлеровского режима, выбрав из большого монолога седьмой главы, где подлинные и документально засвидетельствованные высказывания Гете даны вперемежку с апокрифическими, хотя и вполне правдоподобными по форме и смыслу, отдельные довольно-таки оскорбительные и зловещие суждения о немецком характере, размножили их и под маскировочным заголовком «Из разговоров Гете с Риммером» стали распространять среди населения в виде листовок. Не то пересказ, не то перевод этой своеобразной подделки оказался в распоряжении британского обвинителя на Нюрнбергском процессе сэра Хартли Шоукросса, и он, не подозревая подвоха и соблазнившись разительной злободневностью этих сентенций, широко оперировал ими в своей обвинительной речи. Такая ошибка не прошла ему даром. В «Литерари саплмент» лондонской «Таймс» появилась статья, где утверждалось, что Шоукросс цитировал не Гете, а мой роман, и это вызвало некоторое замешательство в лондонских официальных кругах. По поручению Форин-оффис, посол в Вашингтоне лорд Инверчепел письменно попросил у меня дать необходимую справку. В своем ответе я признал правоту «Таймс», ибо действительно налицо была мистификация, учиненная, кстати сказать, с благими намерениями. Но одновременно я поручился за то, что Гете, если он и не произносил слов, приписанных ему обвинителем, вполне мог бы эти слова произнести, так что в каком-то высшем смысле сэр Хартли цитировал Гете все-таки *верно*.

Эта маленькая комедия ошибок разыгралась несколько позднее, уже в самом разгаре лета. А еще в июне из Германии — сначала без подробностей — пришла куда более серьезная и волнующая весть: 6-го числа, стало быть, как раз в мой день рождения, умер Гергардт Гауптман. Остальное — что Гауптмана обязали покинуть его реквизированный поляками дом в Силезских горах, что восьмидесятичетырехлетний старик слег и умер при полном развале его домашнего быта, среди уложенных в чемоданы вещей — я узнал только позднее. Мои мысли часто возвращались к покойному, к нашим многочисленным встречам, порою — в Больцано и в Хиддензее — надолго соединявшим нас под одной крышей, к тому самобытнейшему, подчас потешному, но всегда трогательному и глубоко привлекательному явлению, какое представляла собой его личность, неизменно внушавшая мне почтительную любовь. Спору нет, в этой «личности» было что-то обманчивое, что-то напыщенно-пустое, в ее духовной скованности было что-то от неудавшегося, напускного, несозревшего и неоформившегося величия, так что иной раз, бывало, целыми часами как зачарованный слушаешь этого седовласого, обильно жестикулирующего человека, и все «без толку». А потом вдруг услышишь от него какую-нибудь, пусть даже очень простую мысль, но в его устах она приобретает такую самобытную яркость, такую силу, такую точность и новизну, что уже никогда ее не забудешь. Однажды вечером, в Хиддензее — кажется, это было летом 23-го года, — он прочитал нам у себя в комнате (в присутствии его секретарши, Юнгман) ту жуткую песнь из своего эпоса о Тиле Уленшпигеле, где солнце отказывается взойти над землей, и после краткого разговора об этом отрывке попросил

меня прочитать что-нибудь из «Волшебной горы», третью четверть которой я как раз тогда писал. Я отказался. Мне действительно не хотелось читать после него, и я ему это сказал. Тут он заволновался. Прошло несколько мгновений, прежде чем он облек в слова возникшую у него мысль. Сначала последовали мимические возражения, жесты, заклинающе-безмолвные призывы к вниманию. Затем он изрек: «Дорогой друг... Нет, нет... Вы не правы... *В доме Отца нашего горниц много!*» Это было так хорошо, так метко, так вдумчиво сказано, так емко и вместе с тем кстати, что тронуло меня до глубины души. «Не так ли? Не так ли?» — повторял он с довольным видом в ответ на мои восторги, и я перестал артачиться. Я прочитал незадолго до того написанную главу «Прогулка по берегу моря», весьма абстрактную, юмористически-философскую пьесу, которая плохо воспринимается вне контекста, чем и нагнал на Юнгман отчаянную тоску. Но старику было интересно. Слушая меня, он следил за интонацией, за языком, за внутренним ритмом и, когда я кончил, стал проводить стилистические параллели. «Больше всего, — сказал он, — это походит на Мередита». Я запомнил это замечание, свидетельствовавшее о его высокой чувствительности к ритмическим отголоскам и аналогиям. Недаром же он сам был великим мастером ритма, и уже Рихард Демель усмотрел в его мнимом «натуралистическом» силезском говоре скрытую подчиненность «внутреннему стиху». Порою, как это имеет место в конце «Михаэля Крамера», его поэзия, будучи почти вовсе лишена мыслей или довольствуясь весьма нечеткими мыслями, основывается на одном только языке. Как-то он сказал, что начало «Андреаса» Гофмансталя отмечено влиянием манеры, характерной для начала Бюхнеровой «Весны». Это — чисто ритмическое наблюдение, до которого, пожалуй, больше никто не додумался бы.

О его добродушии и заботливости я хочу тоже здесь рассказать. В Хиддензее он купался в море в самые ранние часы, и однажды, придя утром на берег, я уже застал его там. С прилипшей к голове белоснежной шевелюрой, в купальном халате, он вытирал полотенцем мокрое тело. Мы поздоровались, и я невзначай спросил: «Как вода?» — «Очень приятная, — отвечал он, — только, пожалуй, слишком теплая». — «Ну что ж, тем лучше», — заметил я и пошел дальше. Не успел я удалиться и на пятнадцать шагов, как он бросился за мной буквально бегом. Он несколько раз озабоченно окликнул меня по имени и, когда я обернулся, сказал, чуть-чуть запыхавшись: «Имейте в виду, я пошутил. Вода ужасно холодная!» Он явно боялся, что со мной случится удар. Добрый человек. И счастливый — большую часть своей жизни. Когда он приехал на празднование своего семидесятилетия в Мюнхен (оно затянулось на несколько недель, это празднование), мы вместе с Максом Гальбе, который обращался к нему не иначе, как «мой великий друг», артикулируя «р» на восточный лад, кончиком языка, отправились к нему на завтрак с шампанским в гостиницу «Континенталь», и этот завтрак превратился в одну из любезных его сердцу попоек: он длился от половины второго до шести. Гауптман был, как всегда, великолепен в своем умении оставаться глубокомысленным, ничего не сказав. Он начинал было свои заклинания, готовясь что-то изречь, но тут же отмахивался от них и решительно заявлял: «Лучше, детки, давайте выпьем еще этого безвредного зелья!» «Безвредным зельем» был моэ-шандон. Тяжело охмелев, он в конце концов поднялся в свою комнату, лег и мгновенно уснул — уснул, без преувеличения, еще до того, как служанка, уложившая его в постель, затворила за собою дверь. Юбилейный спектакль «Крысы» должен был начаться в восемь часов. Появившись в своей ложе с опозданием на добрых двадцать минут и, как король, принятый публикой, которая терпеливо его ждала, он опустился в кресло и смотрел спектакль — блестящий спектакль по его, может быть, лучшей пьесе — до самого конца и с величайшим наслаждением.

Счастливый человек, баловень судьбы. И он хотел им остаться. Роль мученика он отверг. Решительную борьбу против овладевавшего народом варварства он назвал

«нещадной», выбрав весьма хитроумный эпитет, который с равным успехом мог означать и «беспощадная» и «неблагодатная». Он полагал, что следует девизу Гете:

Я люблю вести беседы
С мудрецами и с царями.

С мудрецами! Но ведь не с кровавой же мразью? А он был готов и на это. В его жизни «захват власти» не должен был ничего изменить. Он не хотел отказываться от почестей и надеялся отметить свое восьмидесятилетие не хуже, чем семидесятилетие. Он остался в Германии, вывесил флаг со свастикой, написал: «Я говорю: да!» — и даже встретился с Гитлером, который в течение какой-то позорной минуты сверлил своим тупым взглядом, взглядом василиска, его маленькие, блеклые, совсем не гетевские глаза и «прошагал» дальше. Году в 1900 Гарден называл этого германского любимца еврейской критики «бедный господин Гауптман». Теперь он был действительно «бедный господин Гауптман» и, одинокий, посрамленный, к тому же еще презираемый нацистами за свою к ним снисходительность, конечно же несказанно страдал в спертотом, пропахшем кровью воздухе Третьей империи, несказанно терзался, видя, как гибнут страна и народ, которые он любил. На своих поздних портретах он походит на мученика, а им-то как раз он и не хотел стать. Я с болью представил себе эти мученические черты лица, получив известие о его кончине, и источником скорби моей было чувство, что при всем различии наших характеров и как ни разошлись в ходе событий наши жизненные пути, мы все-таки были когда-то почти что друзьями. Я не отрицаю, что в моём восхищении им всегда была какая-то крупинка иронии; но восхищение это шло от самого сердца, да и он, конечно, уважал место, отведенное мне «в доме Отца нашего», и с великолепной терпимостью, несмотря ни на какие сплетни, пущенные, чтобы разозлить его и настроить против меня, отнесся к тому «личному» выпадку, который я позволил себе в «Волшебной горе», избрав его прототипом для персонажа, олицетворяющего величественную ущербность. В 1925 году он опубликовал очень лестный отзыв об этой книге, и присуждением Нобелевской премии в 1929 году я не в последнюю очередь, а может быть, даже прежде всего, обязан ему. Он позвонил мне в Мюнхен из Шрейбергау, чтобы сообщить, что только что, также по телефону, у него состоялась решающая беседа с kingmaker'ом, профессором Шведской академии Бееком, который говорил из Стокгольма, и что он, Гауптман, рад возможности первым меня поздравить. Я ответил, что эта награда мне тем дороже, чем больше я должен благодарить за нее его. Да, мы были друзьями, но в наших отношениях никогда не выходили за рамки светской вежливости. Характерно-забавным моментом нашего общения была его попытка перейти со мною на «ты» — попытка, от которой он сам же и отказался. Он, по-видимому, немного выпил и начал: «Так вот... Заметьте... Хорошо-с!.. *Мы ведь братья*, не так ли?.. Не следует ли нам, значит... Ну конечно... Но нет, не будем!» На том и осталось. И все-таки! Кого бы еще из пишущего люда он назвал своим братом?..

Мои нервы успокаивались очень медленно; но то, что мне прежде никак не удавалось, шло теперь как по маслу: каждую неделю, без всяких задержек или отклонений в обратную сторону, весы показывали, что я прибавил в весе от полутора до двух фунтов. Ведь после хирургического вмешательства часто наступает такой биологический подъем. Помогло, возможно, и то чудодейственное лекарство, недавно открытое в России, которое мне впрыскивал доктор Розенталь и от которого у меня, кстати сказать, заболела рука, ибо возникшее здесь воспаление вызывало сильнейший зуд. Дневник отмечает «усиленную психологическую и техническую подготовку к войне, начатую в Америке», но параллельно с этими записями, ничуть не смущаясь своим соседством с ними, следуют заметки о равномерном продвижении в работе над романом, доведен-

ной к середине июля до XXXVII, Фительберговской главы или до поисков материала к этой главе. Образ международного агента, символическая сцена искушения одиночества «миром» были задуманы очень давно, а мысль о том, чтобы заставить говорить только самого забавного искусителя и одними лишь намеками показать реакцию его собеседников, возникла у меня сразу же при подборе материала для подобного разговора. Единственным, чего мне еще не хватало, чего я еще по-настоящему не видел, был самый тип, самый облик этого персонажа; но и в данном пункте я получил помощь, когда пришла пора писать дальше: как-то утром, за кофе в моей спальне, я рассказал жене об этой маленькой, но все-таки затруднительной заботе, напомнившей мне те далекие дни в Больцано, когда мне никак не удавалось найти достаточно яркие краски для мингера Пеперкорна — и снова жена дала мне дельный совет. Какое-то подобие этого образа, сказала она, существует в действительности: стоит мне вспомнить в общих чертах одного нашего старого друга С. Ц., живущего ныне в Нью-Йорке и подвизавшегося некогда в качестве литературно-театрального агента в Париже (разумеется, совершенно чуждого музыке), как мой «светский человек» обретет более или менее четкие контуры. Отлично! Ну конечно же, это он и был. Как только мне самому это не пришло в голову? Писать с натуры, всячески одухотворяя свою модель, — величайшее удовольствие, а на упреки в несходстве с оригиналом всегда можно ответить так же, как Либерман: «Это больше похоже на вас, чем вы сами!» Отныне в дневнике повторяются записи типа «Работал над XXXVII», «Весь день писал Фительберга», и хотя как раз тогда мне пришлось уделить несколько дней статье, которую в связи с семидесятилетием Бруно Вальтера заказал мне журнал «Мьюзикэл куортерли» и которой я придал форму дружеского письма, тем не менее уже в середине августа, то есть немногим больше чем через три недели после начала работы, мне удалось закончить эту главу — как-никак утешительный эпизод на вообще-то мрачном фоне повествования и притом весьма удобный для чтения вслух, ибо есть в нем что-то от веселой двусмысленности и театральной броскости сценок с Рико де ла Марлиньером. Из-за этой маленькой характерной роли Лессингу не удалось избежать упрека в националистическом поклепе на французский народ, и так как я всегда считал, что, соблазнившись сценической эффектностью, Лессинг здесь действительно оказался повинен в некоем нравственном легкомыслии, то я должен согласиться, что, несмотря на всю приятную забавность, которую я старался придать своему еврейскому Рико, отнюдь не исключена опасность превратного, антисемитского толкования этого образа. С известной тревогой это было отмечено уже при первом чтении данного раздела в семейном и дружеском кругу, и как ни поразило меня такое замечание, я вынужден был признать его справедливость, тем более что в моем романе имеется еще гнусный Брейзахер, этот хитроумный сеятель великой беды, описание которого тоже дает повод заподозрить меня в юдофобстве. Впрочем, о Брейзахере сказаны такие слова: «Можно ли досадовать на иудейский ум за то, что его чуткая восприимчивость к новому и грядущему сохраняется и в запутанных ситуациях, когда передовое смыкается с реакционным?» А о Фительберге: «Ветхий завет у меня в крови, а это не менее серьезная штука, чем немецкий дух...» Первое наблюдение означает, что мои евреи — всего лишь дети своего времени, такие же, как другие народы, и подчас даже, в силу своей смысленности, наиболее верные его дети. Второе указывает на особую духовную ценность еврейства, признания которой, на первый взгляд, недостает моему роману, но которой я все-таки в какой-то мере наделил даже моего космополита-импресарио. К тому же, если не считать самого рассказчика, Серенуса Цейтблома, да еще матушки Швейгештиль, то разве выведенные в этом романе немцы приятнее, чем изображенные в нем евреи? Ведь в общем же это настоящая кунсткамера диковиннейших созданий отживающей эпохи! Мне, во всяком случае, Фительберг куда милее чистокровно-немецких масок, дискутирующих у Кридвиса о капризах своего времени, и если покамест еще мой ро-

ман не назван антинемецким (но даже и антинемецким его уже, пожалуй, скоро кое-где назовут), то пусть не спешат упрекать меня и в антисемитизме...

Теперь, во второй половине августа, когда я принялся писать XXXVIII главу, посвященную скрипичной сонате и беседе у Буллингера о чувственной красоте, — теперь как раз и состоялись упомянутые совещания с Эрикой, которая отдала много времени просмотру машинописного текста, снова уже затребованного миссис Лоу, любовно очищая его от утомительных длиннот, от педантично-тяжелых оборотов, понапрасну затрудняющих переводчиков, но из-за недостатка решительности не убранных мною самим. В разных частях книги, особенно в начальных, пришлось поплатиться уроками многих утр, выслушивая при этом всяческие сомнения моего заботливого критика, ибо, с одной стороны, ей все нравилось и всего было жаль, а с другой стороны, она все-таки находила, что отдельные жертвы пойдут на пользу роману в целом. Наверное, она ожидала, что я буду отстаивать каждую строчку и теперь удивлялась моей готовности делать купюры — а готовность-то была давняя и только нуждалась в толчке. Мы почти не торговались и не пререкались. «Ладно! Согласен! Долой! Вычеркнем полторы, вычеркнем три страницы! Так будет проще, немного проще». Некоторой правке снова была подвергнута глава о лекциях Кречмара; какая-то часть музыкально-теоретического материала оказалась излишней; сократили разговоры студентов, сжали непомерно растянутое описание брентановского цикла, из богословской главы выкинули целого профессора вместе с его лекцией. В итоге, после того как моя умная советчица сняла некоторые свои замечания, рукопись стала тоньше почти на сорок страниц, и эти сорок страниц были выбраны верно. Никому они не нужны, да и мне не нужны; выбросив их, устранив их, я только облегчил свою душу, хотя, конечно, теперь пришлось дополнительно поработать, чтобы скрыть образовавшиеся пробелы и связать разрозненные куски. Лишь после этого можно было отправить переводчице в Оксфорд (Англия) новую большую порцию окончательно проверенного текста.

Что касается скрипичного концерта, противоречивого дара Адриана беззаветной доверчивости Швердтфегера, то описание этой музыкальной пьесы, более или менее соответствующее ее своеобразному психологическому смыслу, было уже мною закончено, когда Адорно о ней спросил: «Написан ли уже тот концерт, о котором вы говорили?» — «Да, кое-как». — «Нет, позвольте, что очень важно, здесь нам нужна большая точность!» И после нескольких его фраз эта «пародия на страсть», эта фантазия, лишь приблизительно облеченная мною в слуховые образы, получила настоящий технический костяк.

XXXVIII глава была сделана за двенадцать дней, и через два дня после ее окончания я начал писать следующую главу, действие которой происходит сначала в Цюрихе и которая вводит фигуру Мари Годо в отныне все более романообразный, то есть нарастающе драматичный роман. В тот вечер вместе с Арльтами, Фритци Массари и Оскаром Карлвейсом мы праздновали день рождения Вальтера у Альмы Малер-Верфель. Нашим подарком юбиляру, готовившемуся к первому послевоенному путешествию в Европу, было собрание сочинений Грильпарцера, предназначенное для библиотеки его, Вальтера, нового дома в Биверли-Хиллз. После ужина я прочитал собравшимся немецкий текст статьи для «Мьюзикэл куортерли», что очень тронуло моего старого друга, и вручил ему эту рукопись в папке. В конце концов я подарил ему только то, что сам от него получил, ибо моя маленькая работа по сути только перефразировала его мемуары, которые, под заголовком «Тема с вариациями», поначалу на английском языке, тогда только что вышли в свет и где он так тепло вспоминает о нашем первом добрососедском знакомстве в мюнхенском Герцогском парке... Вечер прошел очень весело благодаря Карлвейсу, знаменитому «князю Орловскому» в рейнгардтовской постановке «Летучей мыши» — благодаря щедрости его выдающегося комического таланта. У него есть бесценный номер для узкого круга слушателей,

имитация венского актера Мозера, этакая выигрышно-бравурная разговорная пьеса, продолжительностью около десяти минут, где речь идет главным образом о том, что «Шиллинг находится в Нью-Йорке» и что «в этом-то вся беда». Кто это слышал, тот поймет, что мы смеялись до слез. Трудно передать, как я бываю благодарен за такие дары настоящей «*vis comica*»¹. В обществе виртуозного ее обладателя никто не скучает, я, во всяком случае, всегда ей рад, ибо мое восхищение удачной пародией, комическим мастерством не знает границ, и я никогда не устаю наслаждаться ими. Вот почему я с такой радостью приветствую присутствие Чарли Чаплина в любом «party»². Его мимическое творчество, отличающееся величайшим изяществом и меткостью, сразу же делает его душой общества, и вечер проходит на славу. Чаплина мы в то время тоже часто видели то у Салки Фиртель, то у Флоренса Гомулки, и мне никогда не забыть, например, его рассказа об успехе, выпавшем ему на долю в молодости, его описания поездки из Голливуда в Нью-Йорк, которую он предпринял, еще не осознавши своей огромной славы, описания фантастических ситуаций, вызванных этой безмерной и чудовищной популярностью. То был шедевр наглядно-карикатурного повествования. Не премину, однако, заметить, что этот же гениальный клоун слушал меня с великим вниманием, когда я, в ответ на его расспросы, рассказывал ему о своей работе, о близком уже завершении романа, слухи о котором успели дойти до него. «That's fascinating! — сказал он. — That may happen to be your greatest book»³.

В двадцатых числах августа, когда я вчерне набрасывал конфликт Адриан — Мари — Руди — Инеса, этот подлинный plot⁴ с привкусом даже убийства из ревности, у нас было много гостей: к нам приехали Меди Боргезе со своими двумя говорившими по-английски дочурками, и не менее глубока, хотя и менее непосредственна, чем радость при встречах с моим маленьким швейцарцем, была та радость, которую доставили мне эти очаровательные внучки — старшая, этакая средиземноморская принцесса, грациозная, занимательно-смышленная, и младшая, Доминика, еще больше похожая на отца, черноглазая, с лицом сицилийской крестьянской девочки, очень потешная, но при этом наделенная каким-то своеобразным, редким для ее возраста чувством собственного достоинства. Она огорчается, когда взрослые над ней смеются, и в таких случаях обидчиво, почти строго спрашивает у матери: «Why do they laugh?»⁵ — с таким выражением, словно хочет сказать: «Разве я дала повод для смеха?» Приходится всячески уверять ее, что всем просто весело, что никто не думал над ней смеяться, и что к этому маленькому человеку взрослые относятся с полной серьезностью... Еще состоялась довольно-таки любопытная встреча с эпохой больницы, с одной из примечательнейших ее фигур: к нам в гости приехали из Чикаго профессор Блох и его жена; он осмотрел шрам, проверил сращение тканей и нашел мое состояние весьма удовлетворительным. Действительно, я продолжал прибавлять в весе, хотя как раз в те дни, вскоре после визита Блоха, на меня свалилась беда, изведенная уже мною однажды, правда в более мягкой форме, много лет назад в Цюрихе, после рожи, стало быть опять-таки после длительного пребывания в постели: необычайно мучительное воспаление кожи, вызывавшее сильнейший зуд и потому совершенно нарушившее ночной сон; оно появилось в начале сентября и пошло на убыль лишь в октябре, изводя меня порою невыносимо. Известно, как трудно оказать врачебную помощь при подобных недомоганиях, имеющих в известной мере нервное происхождение (хотя и очень реальных), ибо, например, рентгеновские лучи или анестезирующие средства в таких случаях приносят подчас больше вреда, чем пользы; тем не менее я призывал

¹ Силы комизма (лат.).

² Здесь — доме, куда меня приглашают (англ.).

³ Это поразительно! Может случиться, что это станет вашим крупнейшим трудом (англ.).

⁴ Заговор (англ.).

⁵ Чего они смеются? (англ.).

на помощь разных врачей, и американцев и немцев — каковые, впрочем, не только не улучшили моего положения, но даже, несмотря на самые благие свои намерения, ухудшили его. К этим тягостным неделям относится странный случай, чем-то напонивший мне неудачные походы Адриана к лейпцигским врачам: подъехав однажды к Medical Building¹ в Биверли-Хиллз, где работал врач, на которого я как раз и возлагал все свои надежды, я обнаружил, что за ночь это здание сгорело и что в него уже нельзя войти; остались только закопченные, залитые водой стены, мусор и хлам. И, может быть, мне просто повезло, что волей небес вовремя прекратился один из этих лечебных курсов, преследовавших, несомненно, самые добрые цели и безотносительно, по-видимому, вполне приемлемых, но только, увы, для меня вредных. В конце концов я остановил свой выбор на одной маленькой, с мышинными глазами, русской еврейке, обитавшей в центре Лос-Анжелоса; правда, поездки к ней превращались в целое путешествие, и к тому же она была так перегружена и так скверно распределяла свое время, что больным приходилось часами дожидаться приема, но зато свое дело, именно это дело, она знала до тонкости, а потому сразу же мне помогла и через неделю-другую вылечила меня окончательно.

«Даже потеряв сон, буду работать» — эти упрямые слова были однажды записаны в дневнике; и действительно, даже в самые мучительные периоды недуг не мог мешать продвижению романа. Слишком полон я был своей почти уже выполненной задачей и слишком уверен в том, что теперь делал. На день или на два я прервал работу в конце сентября, чтобы в форме письма Богуцу Бенешу, племяннику нашего друга и покровителя, президента Чехословакии, написать предисловие к его роману «God's Village»², выходящему в Англии; затем, утро за утром, я снова шагал своим путем, придавая мифической драме о женщине и друзьях жуткую и особенную развязку: рассказал, как Адриан выразил желание жениться, изобразил зимнюю экскурсию в баварские горы, написал диалог между Адрианом и Швердтфегером в Пфейферинге (гл. XLI), эту загадочно-странную беседу, за которой таится мотив чорта и сочиняя которую я несколько раз записал в дневнике: «Читал Шекспира», — прибавил предшествующие помолвке сцены между Руди и Мари и во второй половине октября, с легкостью (как легко повествовать о катастрофах!) закончил XLII главу — убийство в трамвае. Несколько дней спустя, читая эти разделы у Нейманов в Голливуде, я вспомнил, что образ электрического огня, с шипеньем и треском вспыхивающего под колесами и над дугою приближающегося вагона, где должно произойти убийство, живет в моем воображении с давних времен. Эта идея принадлежала к числу тех старинных, так и не реализованных замыслов, о которых я уже упоминал выше. Около пятидесяти лет вынашивал я этот призрак «холодного пламени», пока наконец не пристроил его в позднем произведении, вобравшем в себя немало эмоций тех юных дней... Кстати сказать, Китти Нейман спасла меня от серьезной ошибки в топографии Мюнхена. Ареной преступления Инесы я сделал было вагон линии № 1, а ведь этот трамвайный маршрут, оказывается, никогда не вел в Швабинг! Мне предоставили богатый выбор других номеров, и теперь, благодаря бдительности моей слушательницы, тотчас же и весьма обстоятельно высказавшейся по поводу этого ляпсуса, в тексте романа, в полном соответствии с действительностью, значится № 10.

Опять приехали детишки из Сан-Франциско, и опять появляется заметка: «Рисовал для Фридо — пальму, железную дорогу, виолончелиста, горящий дом». Теперь в дневнике многократно встречаются уже какие-то преобразенные, просветленные, отвлеченные описания Фридо, и здесь часто фигурирует слово «эльфический». «Он производит впечатление эльфа». «Утро провел у себя на балконе с этим эльфическим малышом»... Его час приближался. XLII глава, а тем самым и вся предпоследняя

¹ Зданию больницы (англ.).

² «Божья деревня» (англ.).

часть книги была завершена к концу октября, а 31 октября я начал XLIII — главу камерной музыки, подводящую уже к «Плачу», оратории, работа над которой, однако, откладывается из-за приезда и страшной смерти этого дивного ребенка. Но сколько всяких событий, политических и личных, сколько впечатлений от книг, сколько всяких инцидентов, вызванных общением с людьми и чтением почты, непрестанно примешивается к моему главному занятию, к насущнейшему труду, каковому уделяется, собственно, не более трех-четырёх лучших, герметически отрешенных дневных часов! Что касается книг, то романы Конрада по-прежнему казались мне наиболее подходящим или, во всяком случае, наименее вредным на данной стадии моего собственного «романа» развлечением. Читая с огромным удовольствием «The Nigger of the Narcissus», «Nostromo», «The Arrow of Gold», «An Outcast of the Islands»¹ и как там еще называются все эти превосходные вещи, — я обращался и к произведениям совершенно иного рода, таким, например, как «Стихийный дух» Гофмана, и к чисто филологической литературе, питающей и подстегивающей лингвистическую фантазию, вроде «Пословиц средневековья» достопочтенного Самуэля Зингера из Берна. В сентябре разыгрался конфликт Уоллес—Бирнс, и Secretary of commerce², чья речь о внешней политике угрожала парижской «программе мира», был уволен преемником и ставленником Рузвельта. На Уоллеса поставили клеймо «praised by reds»³, а вскоре этого уроженца Айовы объявили и попросту иностранным агентом. В тот вечер, когда по радио сообщили об его отстранении от должности, мы послали ему приветственную телеграмму. На эти же дни пришлась и цюрихская речь Черчилля о пан-Европе, ратующая за франко-германское сотрудничество под американским и русским протекторатом. По своему подозрительному германофильству эта речь превзошла штуттгартские высказывания американского государственного секретаря, и теперь яснее, чем когда-либо, обнаружилось и стремление перевооружить Германию для войны с Россией, и личные надежды старого вояки на «one more gallant fight»⁴. В начале ноября республиканцы одержали у нас победу на выборах, получив около 55 процентов голосов. По мнению европейских комментаторов, Трумэн дискредитировал свою партию, и, в отличие от всего остального мира, Америка стоит на правых позициях. Она поправеет еще больше. Могущественные круги стремятся начисто разрушить дело Рузвельта и, вконец разъяренные запоздалым сожалением о том, что Германия побита Россией, а не Россия Германией, как им хотелось, стремятся пойти еще дальше по пути реакции — куда же? К фашизму?.. Все эти проблемы, так или иначе ежедневно о себе напоминавшие, тоже занимали мои мысли и, наряду с событиями прошлых лет, составляли фон этого романа одного романа.

Не лишено было политической окраски и одно частное событие конца сентября. Почта доставила мне письмо одного бывшего боннского профессора, работавшего теперь в Лондоне, которого уполномочили заранее выяснить, согласен ли я снова принять звание почетного доктора Боннского философского факультета, отнятое у меня под нажимом нацистов. За естественно мирным тоном моего ответа: «С удовольствием приму!» — скрывалась успокоительная мысль, что все сказанное мною моим соотечественникам и миру в 1937 году, в связи с моим национальным и академическим отлучением, что «Переписка с Бонном», стало быть, отнюдь не зачеркивается этим восстановительным актом... И вскоре я вновь получил, в двух экземплярах, давно уже забытый мною, высокопарно-латинский диплом 1919 года с очень теплыми сопроводительными письмами ректора и декана... В один из сентябрьских вечеров у меня долго сидел некий молодой человек, до глубины души потрясенный

¹ «Негр с Нарцисса», «Ностромо», «Золотая стрела», «Изгнанник с островов» (англ.).

² Министр финансов (англ.).

³ Любимчика красных (англ.).

⁴ Еще одно доблестное сражение (англ.).

исходом выборов и новым политическим курсом своей страны, студент из Чикаго, член общества, пропагандирующего идею world government ¹, и вел со мной долгую беседу, в ходе которой об угрозе атомной бомбы и о необходимости международного контроля было сказано в точности то же самое, что в воззвании Эйнштейна и семи других физиков, опубликованном несколько недель спустя. Мой посетитель убеждал меня поехать в Чикаго и произнести перед участниками его организации речь о создании всемирного комитета для защиты мира. Я не мог дать согласия на такую поездку, но зато обещал ему написать statement ², или, выражаясь торжественнее, послание о мире как главной заповеди и о претворении этой утопии в практическое требование жизни и действительно прервал работу над текущей главой, чтобы сказать свое слово этой горячей, живой молодежи — нисколько, разумеется, не сомневаясь, что мой призыв потонет в злосчастных волнах судьбы еще быстрее и безвестнее, чем манифест великих ученых.

В знак признательности за недавнюю статью «Мьюзикэл куортерли» подарил мне забавную книгу — факсимиле находящихся в Америке писем Бетховена. Я долго глядел на них, на этот нескладный, корявый почерк, на эту отчаянную орфографию — и сердце мое «не согрелось любовью». Опять стала понятна гетевская неприязнь к этому «неистовому человеку», и опять возникали раздумья о соотношении между музыкой и умом, музыкой и культурой, музыкой и гуманностью. Может быть, музыкальный гений вообще непричастен к гуманности и к «исправлению общества»? Может быть, он как раз им-то и противодействует? Но ведь Бетховен был человеком веры в революционную любовь к людям, и французские литераторы презрительно упрекали его за то, что он как музыкант говорит языком этакого радикального министра... Французы — эстеты, с этим ничего не поделаешь. Я лишний раз убедился в этом, сравнив две книги, немецкую и французскую, посвященные моей собственной работе и в ту осень почти одновременно мне попавшиеся. Заглавие французской книги (автор — Жан Фужер) связывает мое имя с идеей «seduction de la mort» ³, тогда как немецкая, написанная Арнольдом Бауэром и вышедшая в Восточной зоне, говорит о моем творчестве в связи с «кризисом буржуазной культуры». Хочется спросить: верит ли вообще французский ум в наличие этого кризиса? Мне кажется, что, как и после первой мировой войны, французы предоставляют немцам «бредить апокалипсисами», проявляя гораздо больший интерес к красотам, подобным этому «сворачиванию смерти». Что немецкий ум метафизичен, а французский социален, верно лишь относительно...

В те дни я часто вспоминал и потому вспоминаю сейчас об одной встрече с Шенбергом у нас дома, когда он рассказал мне о своем новом, только что законченном трио и о житейских впечатлениях, зашифрованных в этом концерте, являющемся в какой-то мере их квинтэссенцией. Он утверждал, что изобразил здесь свою болезнь и ее лечение, включая male nurse ⁴ и все остальное. Сыграть это трио, сказал он, крайне трудно, даже почти невозможно, если только каждый из трех исполнителей не окажется виртуозом, из-за необычайных звуковых эффектов этого опуса, хотя его исполнение было бы вполне благодарной задачей. Словосочетание «невозможно, но благодарно» я вставил в главу о камерной музыке Леверкюна... В конце октября доктору Розенталю было послано письмо, где я просил этого врача рассказать мне, как протекает воспаление мозговых оболочек. К первой главе об Эхо (XLIV) я приступил в начале ноября. Она продвигалась день ото дня. Я показывал это нежное существо во всем его эльфическом обаянии, так что моя собственная нежность перерастала в какую-то

¹Всемирного правительства (англ.).

²Заявление (англ.).

³Сворачивания смертью (франц.).

⁴Санитара (англ.).

уже иррациональную умиленность, тайно внушающую читателю веру в божественное начало, в гостя из горней и дальней обители, в Богоявление. Прежде всего я вложил в уста маленькому посланцу его чудесные речения, причем мне так и слышались голос и интонация моего внука, по крайней мере один из этих забавных оборотов: «Гляди-ка, ты ведь рад, что я здесь?» — однажды действительно употребившего. Вся суть возвышающего переосмысления, которому я подверг свой прототип, заключена в той неземной многозначительности, какую словно бы непроизвольно приобретает в романе это «здесь». И с каким-то мечтательно-странным волнением я наблюдал, как моя книга, являющаяся в общем-то книгой о немецкой душе, обнажает не только барочный и лютеровский пласты языка, но, устами ребенка и через швейцарский говор, также и более глубокий средне-верхненемецкий пласт. Для вечерних молитв Эхо, происхождение которых никому не известно, я использовал притчи из «Поучений Фрейданка» (XIII век), каковым и придал форму молитв, видоизменив по преимуществу третьи и четвертые строки. Современные стишки Непомука взяты из одной ныне уже забытой книжки с картинками, очень занимавшей в детские годы меня самого; я запомнил их наизусть... Усерднее, кажется, я никогда не работал. «Писал главу об Эхо» — эта запись встречается теперь то и дело. «Много работал уже рано утром». «Долго читал «Tempest»¹. «Плохо спал из-за вечерних размышлений». Затем, в начале декабря: «Писал смертельную болезнь Эхо, с болью». «С болью!» Эти два слова становятся отныне повторяющейся формулой. Что «божественное дитя» будет отнято у Адриана, окруженного «холодом» и не смеющего любить, это было уже давно задумано и решено. Точные сведения о болезни, которая должна послужить злодею для осуществления его чудовищного замысла, в известной мере подготовили меня к предстоящей работе. Однако выполнить ее мне было страшно тяжело, и когда впоследствии, в Лондоне, моя переводчица совершенно серьезно спросила меня: «How could you do it?»² — я ответил ей, что по поведению Адриана, по его «Так не должно быть», по его отказу от надежды, по его словам об «отнятом у людей» — она может понять, как было мне тяжело. В первой половине декабря появилась запись: «XLV глава закончена так, как и надлежало это сделать»; а на следующий день появилась такая заметка: «Рано проснулся, взволнованный состоянием книги, намерением устроить чтение свеженанписанного и работой еще предстоящей». Уже несколько недель у нас гостил близнец моей жены Клаус Прингсгейм, в ноябре, вместе со своим сыном, приехавший в Штаты из Токио, где много лет был дирижером императорского оркестра. Ему и нашему Голо, который тогда получил кафедру истории в Помона-колледже, я прочитал однажды вечером этот умильный и страшный раздел, самый, наверно, поэтичный в моем романе, прочитал с волнением, явно передавшимся слушателям. Мы долго беседовали об этом возвышенно-горестном эпизоде и решили как можно дольше скрывать его от матери реального ребенка, к слову сказать, давно уже вышедшего из возраста Эхо...

Произведение искусства всегда вынашивается как единое целое, и хотя философия эстетики утверждает, что произведение литературное и музыкальное, в отличие от произведений изобразительного искусства, связано определенной временной последовательностью, тем не менее оно тоже стремится к тому, чтобы в каждый данный момент предстать целиком перед читателем или слушателем. В начале уже живут середина и конец, прошлое пропитывает настоящее, и даже предельная сосредоточенность на настоящем не мешает заранее заботиться о будущем. Так, например, когда я, казалось бы, целиком отдался рассказу о Непомуке, мое внимание все-таки одновременно было направлено и на дальнейшее, на описание второго главного произведения Леверкюна — «Плача доктора Фаустуса», и еще в те дни, когда я работал над первой

¹ «Бурю» (англ.).

² Как вы смогли это сделать? (англ.).

главой об Эхо, в дневнике появилась такая заметка: «Выписываю отдельные мысли из сборника преданий для фаустовской оратории. Всё — в хоровой форме, исторически соотнесенной с плачами XVII века. Прорыв от умозрительности к эмоциональности». «С Адорно о кантате» — записано в тот же период. «У нас ужинали Адорно. Потом я читал в кабинете разговор в Пфейферинге и смерть Рудольфа. Опять так и напрашивается аналогия с «Парсифалем» в отношении ко всему предыдущему творчеству». А дальше одно из тех, идущих от самого сердца восклицаний, какие время от времени попадают в записях этих лет. «Нет, ни одна работа меня так не волновала и не встряхивала!» Но вот настала пора придать какие-то реальные черты «отнимающему» произведению Адриана, мною задуманному, и я хорошо помню плодотворный ноябрьский вечер, проведенный ради этого неотложного дела в доме моего музыкального советчика и друга. Сначала мы говорили о четвертом томе ньюэновской биографии Вагнера, выпрошенном мною, по-видимому, как раз из-за «Парсифаля», у Кнопфа и отнюдь не удовлетворившем меня психологическим объяснением разрыва Ницше с Вагнером (этот разрыв мотивируется обыкновенной ревностью и даже просто-напросто светским соперничеством). Кстати, о Вагнере как о мыслителе Эрнест Ньомэн подчас отзывается ничуть не почтительней, чем о Ницше, но только Вагнеру он все готов простить ради его произведений — как будто произведения не рождены мыслью. Между тем в одном месте он называет своего героя «a born amateur»¹, не понимая, что эта черта характера, что связанная с нею безапелляционность суждений и чудовищная нескромность, предвосхищающая нескромность Гитлера, как раз и раздражала Ницше. Что же касается самого эпитета «a born amateur», то он, по-моему, не так плох. Сколько я выслушал нареканий, когда в статье «Страдания и величие Рихарда Вагнера» назвал этого поборника «всеобщего искусства» гениальным дилетантом! Теперь автор четырехтомной биографии подтвердил мое мнение смелым словосочетанием «прирожденный любитель». Но довольно об этом. Мы перешли к нашей кантате, и тут у «действительного тайного советника», как я назвал Адорно в дарственной надписи на печатном экземпляре «Фаустуса», нашлось множество ценных соображений. И все же мне хочется сказать, что главная его заслуга в создании этой главы относится не к области музыки, а к области языка и его оттенков, приобретающих в самом конце некий этический, религиозный, богословский смысл. Однажды вечером, когда я после двухнедельной работы закончил — или решил, что закончил, — этот раздел, я прочел его Адорно у себя в комнате. Он не сделал никаких замечаний по части музыки, но был явно недоволен концом, последними сорока строчками, где после беспросветно-мрачной развязки говорится о надежде, о милости, строчками, которые читаются теперь совсем по-иному, а тогда просто не удались. Я оказался, слишком оптимистичен, слишком благодушен и прямолинеен. Я зажег слишком яркий свет и огрубил утешение. Возражения моего критика были в высшей степени справедливы. На следующее же утро я взялся за основательную переделку этих полутора или двух страниц и придал им их нынешнюю, осторожную форму, найдя лишь теперь такие выражения, как «трансценденция отчаяния», как «чудо, выходящее за пределы веры», и ту многократно цитированную, упоминаемую чуть ли не в каждой рецензии на «Фаустуса» заключительную, похожую на стихи каденцию, где отзвучавшая скорбь переосмысливается как «светоч в ночи». Только через несколько недель, будучи снова в гостях у Адорно, я прочитал ему исправленный текст и спросил его, доволен ли он теперь. Вместо ответа он позвал свою жену, чтобы она тоже послушала. Я еще раз прочитал им обоим эти страницы, взглянул на их лица — и больше уже ни о чем не спрашивал...

В 1946 году рождественские дни были душные, то и дело накрапывал дождь. 23-го, все еще занимаясь Адриановой кантатой, я отчетливо вспоминал детство, когда нам уже в этот вечер раздавали подарки в родительском доме, ибо в самый сочельник

¹ Прирожденный любитель (англ.).

происходило чинное и пышное празднество в доме бабушки, доме, развалины которого, чудом уцелевший фасад с пустыми амбразурами окон, я теперь так часто себе представлял. Сидя у наряженной елки, мы слушали по радио «Мессию» Генделя... В те дни я снова читал «Ессе homo» Ницше — очевидно, для подготовки к заключительным разделам романа и еще, после многолетнего перерыва, вызванного потерей принадлежавшего мне экземпляра, книгу Йоэля «Ницше и романтизм», многому научившую меня в юности и теперь приобретенную через букиниста-антиквара. Дитерле, только что вернувшиеся из Европы, из разгромленной Германии, рассказывали о нищете, о горе, насквозь пропитавшем города и людей, и с горечью повествовали о благоденствии эсэсовцев, хотя и содержащихся в лагерях, но приравненных в довольствии к американцам и преспокойно принимающих солнечные ванны. В этот сочельник с нами не было внуков; мы поговорили по телефону с находившимися в Нью-Йорке Эрикой и Клаусом, с детьми в Милл-Воллей, с Фридо. В вечернем концерте прозвучала Девятая симфония, что было очень кстати в свете моих занятий. Никогда еще меня так не восхищали ее скерцо и адажио, но и на этот раз я не полюбил ее разбросанной последней части, вариаций. В последние дни года я ежеутренне работал над романом и перечитывал «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Все время шел дождь. Происки «Committee of Un-American Activities»¹, направленные теперь против явно заподозренной в сочувствии коммунистам Library of Congress, угнетали и возмущали меня. Незадолго до нового года у нас ужинал доктор Герман Раушниц с женой. Мы беседовали на политические темы. Он считал, что немцы не могут уже больше существовать как народ; остается лишь немец как индивидуальность. Раушница привлекала идея европейской федерации, включающей в себя отдельные немецкие земли, и отказа от немецкой государственности... К 31 декабря — это был ясный, ветреный день — я все еще не мог закончить XLVI главу. Вечером Голо привел к нам молодого Эйзольдта, сына той самой Гертруды Эйзольдт, которая в дни моей юности произвела на меня неизгладимое впечатление в роли ведекиндовской Лулу в театре Рейнгардта. Молодые люди упростили меня почитать, и я прочел им о врачах Адриана и отрывки из его беседы с чортом. Потом заговорили о Гуго Вольфе, о том, как он однажды (для меня это было новостью) побывал в публичном доме и заразился «французской болезнью» от девушки, которую уступил ему тамошний тапер...

Первый день 47-го года, тот день, когда я утром закончил, правда вчерне, главу о кантате, принес мне истинную радость. Несколькими днями раньше я отправил Эрике в Нью-Йорк, на просмотр, еще неизвестные ей части рукописи, около десяти глав, и теперь, придя с прогулки, не без испуга узнал, что на мое имя поступила телеграмма и что текст ее «not to be telephoned»². Телеграмма, за которой мы не преминули послать, гласила: «Read all night. Shall go into newyear reddend eyes but happy heart. Wondering only how on earth you do it. Thanks, congratulations etc»³. Как согрели мне сердце эти слова, столь характерные для моей любящей девочки! Я так и знал, что она будет плакать об Эхо; но все приняло, как она вскоре мне рассказала, куда более смешной и житейский оборот, чем я себе представлял. Дело в том, что в честь Нового года она после ночи, проведенной над рукописью, воспользовалась услугами некоего beauty-shop⁴, а вечером, при чтении главы об Эхо вся эта искусная косметика, тушь для ресниц и прочее, растворилась в слезах и расплылась по ее лицу черными подтеками... В тот же день я получил германское издание «Лотты в Веймаре», явившейся, по-видимому, не случайно и, во всяком случае, с моего согласия, первой моей книгой, переизданной в

¹ Комитета по расследованию антиамериканской деятельности (англ.).

² Не подлежит передаче по телефону (англ.).

³ «Читала всю ночь. Буду встречать Новый год с покрасневшими глазами, но со счастливым сердцем. Удивляюсь только, как же тебе удалось так написать. Благодарю, поздравляю и т. д.» (англ.).

⁴ Косметического кабинета (англ.).

самой Германии. Вечер, вместе с Чаплинами, Дитерле, Фейхтвангерами, Гансом Эйслером, мы провели в доме философа доктора Вейля и его жены-американки, и снова у меня с Эйслером завязалась одна из тех полувосторженных-полуехидных дискуссий о Вагнере, которые меня всегда так забавляли. Но почти одновременно с перечисленными событиями из Байрейта пришло подкрепленное соответствующими документами письмо от доктора Франца Бейдлера, племянника Вагнера, кстати сказать до жути похожего на него лицом, и это письмо много дней служило мне пищей для размышлений. Я знал Бейдлера, покинувшего Германию в 1933 году, еще по Берлину и Мюнхену, а затем в Цюрихе он с женой часто бывал у нас в доме и даже несколько раз читал нам начальные главы из своей, видимо, так и не законченной книги о его бабке Козиме, книги, разумеется, довольно критической. И вот, байрейтский бургомистр, дорожа честью своего города, обратился к нему по поводу реорганизации вагнеровского театра и возобновления праздничных спектаклей «в демократическом духе», предложил Бейдлеру, известному своим враждебным отношением к гитлеровскому Байрейту и к порядкам, установленным его теткой, взять на себя руководство этим театром и после длительной переписки пригласил его в Байрейт для устных переговоров. С моей точки зрения, эта поездка была полезна Бейдлеру главным образом тем, что открывала ему доступ к ванфридскому архиву, дотоле, в ущерб его книге, для него закрытому. Однако на месте началось подробное обсуждение плана градоначальника, списка предполагаемых сотрудников, состава организационного комитета, и прежде всего, чуть ли не ставя это условием своего участия в предстоящей работе, Бейдлер потребовал, чтобы меня назначили на должность почетного президента, каковую он самым серьезным и дружеским образом теперь и предложил мне в своем письме. Это было странное, фантастическое и в известном смысле потрясающее предложение. По сотне причин — нравственных, политических, материальных — идея Бейдлера представлялась мне утопической, далекой от реальности и опасной, отчасти преждевременной, отчасти же запоздалой, отставшей от времени и от истории; я не мог отнестись к ней серьезно. Серьезно отнесся я только к тем мыслям, чувствам, воспоминаниям, которые она у меня вызвала, — воспоминаниям о моей всегдашней, а в молодости, благодаря кодовской критике Ницше, особенно горячей и глубокой приверженности к миру Вагнера, об огромном и, пожалуй, даже определяющем влиянии двусмысленного волшебства этого искусства на мою юность. Чудовищно посрамленное ролью, выпавшей на его долю в национал-социалистском государстве, это искусство должно было теперь вернуть себе свою чистоту (но было ли оно когда-нибудь чистым?), и поздняя действительность уготовила мне пост официального представителя мифа, которым я жил в молодости. Это было не то чтобы искушение, нет, это была мечта, и, право же, я разделался бы с последними пятьюдесятью страницами «Фаустуса» гораздо быстрее, если бы меня целыми днями не манил этот обманчивый огонек и я не отвлекался от работы, уклончиво мешкая с ответным письмом Бейдлеру.

XLVII глава, глава собрания и исповеди, была начата на авось во второй день нового года, и, помнится, в тот же вечер я слушал чудесное си-мажорное трио Шуберта, предаваясь мыслям о счастливом состоянии музыки, сказавшемся в этом произведении, о позднейшей судьбе искусства, о потерянном рае. Попутно с тогдашней работой я читал прозу Мёрике, и особенно сильное впечатление произвели на меня «Штутгартские домовые», так что я даже позавидовал столь естественному и как бы совсем не ученому владению старонемецким языком. Как раз в те дни мне попалось одно объявление, воспринятое мною, вопреки всяким доводам разума, как нечто чудовищное, как такая сумасшедшая нелепость. Из Цюриха прислали каталог опрехтовской книжной лавки, в котором, под рубрикой новинок, черным по белому, было напечатано полное заглавие «Фаустуса» с указанием предполагаемой цены тома в коленкорном переплете! Не могу передать те чувства, с какими я прочитал этот анонс: он

ошеломил, смутил, испугал меня, как только способна ошеломить, смутить, испугать доброжелательная, но мучительная нескромность. Я все еще продолжал единоборство со своей книгой, а ведь при такой работе до самого последнего слова живешь представлением, что главные трудности еще впереди и что все сделанное должно быть еще спасено дальнейшим. Меня ужасала поспешность, с которой мой труд, казавшийся мне далеко не законченным, был объявлен готовым товаром в коленкоровом переплете, но, кроме того, несмотря на все мои частные высказывания о «Фаустусе», давно уже дававшие выход переполнявшим меня заботам, мысль о том, чтобы опубликовать свой сокровенный труд и сделать его достоянием общества, была мне по сути все еще очень чужда, и я поспешил подалее убрать этот каталог с пугавшей меня рекламой.

У меня ушло семнадцать дней на предпоследнюю главу — последнюю, собственно говоря, ибо конец был задуман как эпилог. Речь Адриана, вылившаяся у меня из глубины души, всколыхнула всю мою душу, и если бы не старая привычка сочетать политические интересы с поэтически-человеческими и переходить из одной сферы в другую, мне было бы просто непонятно, как я мог тогда обращать внимание на всякие злободневные события, вроде ухода Бирнса с поста государственного секретаря и назначения на эту должность вызванного из Китая генерала Маршалла. Прислушаться к новостям о Германии работа над «*oratio*»¹ тоже мне не мешала. Эрнст Вихерт, один из столпов «внутренней эмиграции», во всеуслышание говорил об «этом безнадежном народе», и если было не совсем ясно, что он имеет в виду — народ, которому не на что надеяться, или же народ, на которой нельзя возлагать никаких надежд, то этот вопрос более или менее проясняло такое дополнительное замечание: вернись сейчас Гитлер, 60, а то и 80 процентов немцев встретили бы его с распростертыми объятиями. Не было только сказано, что в данном случае сталкиваются две безнадежности — безнадежность немецкая и безнадежность нашей оккупационной политики. Что же касается Вихерта, то он теперь перешел к «внешней эмиграции» и уехал в Швейцарию, — весьма недовольный бесцеремонностью, с которой в его доме были поселены *displaced persons*².

Гнетущая, сухая жара, как и в другие январские дни, стояла в тот день, когда я, заканчивая долгий ряд нумерованных глав, предоставил последнее слово верхнебаварской крестьянке, этому воплощению человечности, взятому также из жизни, и начал готовиться к эпилогу. На эпилог потребовалось восемь дней. 29 января, утром, я написал последние строки «Доктора Фаустуса» — ту тихую, проникновенную молитву Цейтблома за друга и за отечество, которая уже давно мне слышалась, — и мысленно перенесся через три года и восемь месяцев, прожитых мною под напряжением этой книги, в то майское утро, когда я, в самом разгаре войны, взялся за перо. «Я кончил», — сказал я жене, приехавшей за мной на автомобиле, чтобы отвезти меня домой после обычной моей прогулки к берегу океана; и она, преданно дожидавшаяся и дождавшаяся вместе со мною уже стольких свершений, — как горячо поздравила она меня! «По праву ли?» — спрашивает дневник. И прибавляет: «Признаю нравственную ценность».

На самом деле у меня не было такого чувства, что работа закончена, — только оттого, что написано слово «конец». «Раздумья над рукописью и правка» — эта запись повторяется еще изо дня в день. Я убрал из эпилога некоторые подробности, показавшиеся моим слушателям слишком тягостными, вернулся с пером в руках к скрипичной сонате и камерной музыке, предпослал роману эпиграф из Данте и вздумал было придать этому нагромождению глав более четкую форму, разбив написанное на шесть «книг». Проделав, однако, такую разбивку, я снова от нее отказался. Прошла еще неделя, первая неделя февраля, прежде чем я объявил этот роман «окончательно

¹ «Речью» (лат.).

² Перемещенные лица (англ.).

готовым» и решил, что больше к нему не прикоснусь. Тот вечер мы провели у Альфреда Неймана и выпили шампанского в честь окончания произведения, к замыслу которого мой добрый друг отнесся с таким вниманием и участием. После кофе я прочитал главу об Эхо, чем очень всех взволновал. На следующий день мы узнали, что Китти всю ночь не спала и думала только о моем Непомукке.

Пришло время заняться лекцией о Ницше для поездки на Восток и в Европу, поездки, к которой мы уже стали готовиться. Этот публицистический эпилог к «Фаустусу» отнял около четырех недель и, разросшись до сорока рукописных страниц, оказался на двадцать страниц длиннее, чем это требовалось для выступлений на английском и на немецком языках. Эрика показала высочайший образец редакторского искусства, сократив статью для устных выступлений ровно наполовину и сумев, несмотря на десятки отдельных купюр, сохранить самое существенное. В последние перед нашим отъездом недели я был занят статьей к семидесятилетию Германа Гессе и правкой английского текста доклада о Ницше. 22 апреля мы отправились на восток, а 11 мая были на борту «Королевы Елизаветы». Я выступал в Лондоне. В одно из июньских утр — это походило на сон — я сидел на сцене Цюрихского театра, где восемь лет назад читал на прощанье из «Лотты в Веймаре», и, счастливо взволнованный возвращением в милый моему сердцу город, читал перед аудиторией, дружески разделявшей со мною радость свидания, сцену моего Рико — Фительберга.

Несколько недель этого солнечного лета мы провели во Флимсе, близ Граубюндена, и там я читал ежедневно поступавшие из винтертурской типографии корректурные листы «Доктора Фаустуса». Роман его становления закончился. Начался роман его земной жизни.

1949